

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ



ДВИЖДА

ПОВЕСТЬ

*Радуйтесь с радующимися
и плачьте с плачущими.*
(Рим. 12:15)

1

Началось всё с безумного спора, который сначала вывернул наизнанку жизнь, а потом и душу...

Золотым осенним днём, когда солнышко припекает напоследок и знаменитой русской хандре вроде бы нет места в сердце, два журналиста шли по подсохшей улице, оживлённо говорили “за жизнь”, подумывали — не подлить ли в беседу шивка или чего покрепче, и радовались той самой жизни. Между двумя приятелями наблюдалась существенная разница, как в возрасте, так и в боевой и политической подготовке. Обрисовать их можно так: более умудрённый опытом борьбы за либеральные ценности и права человека Виталий Степанович Бабель, очень гордившийся своей революционной фамилией, был седым и ключковато-непричёсанным человеком, неровная чёлка опускалась на огромные дwoяковыпуклые очки, в которых сияли водянистые выпуклые глаза, пронзающие мир пренебрежением всезнания и житейской

КОЗЛОВ Сергей Сергеевич родился в 1966 г. в Тюмени. Окончил исторический факультет Тюменского государственного педагогического института. По образованию историк. Работал учителем истории, музыкантом, сторожем, текстовиком в рекламном агентстве. Играл в группе “Нефть”. Пишет прозу, стихи, публицистику. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы. Живёт в Ханты-Мансийске.

мудрости. Пожалуй, глаза Виталия Степановича были главной характерной чертой его лица, потому тонкие губы, заострённые уши и немного вздёрнутый, нехарактерный для такого типа лица нос описывать не стоит. Виталий Степанович был человеком невысоким и щедрым, но весьма агрессивным даже в речи. Напротив, большой и высокий, молодой и опрятный Костя Платонов по натуре был добродушным и отзывчивым человеком. И вовсе не гордился своей писательской фамилией. Бабель подкатывался к шестидесяти, а Платонову недавно перевалило за тридцать. Он был счастлив своей молодостью и отмахивался от Бабеля, которому хотя бы три раза в сутки надо было сокрушать сталинизм или ещё какую-нибудь тоталитарность.

— Да живите вы проще, Виталий Степанович! Ну надоело уже народу развеивать прах Сталина. Да и так ли он страшен, как его малюют?.. — улыбался Платонов солнцу и встречным девушкам.

— Ну, знаете, Константин Игоревич! — взрывался, чуть ли не брызжа слюной, Бабель. — Если мы забудем, если молодое поколение не вынесет из этого урока, если... Всё это повторится! Лагерь, расстрелы, “воронки”... А вы с такой преступной лёгкостью говорите об этом.

— Да надоело, Виталий Степанович, тошнит уже. При Сталине мы Гитлера победили...

— Да как вы можете такое говорить! Мы Гитлера победили не потому, а вопреки! Вы преступно наивны, Константин Игоревич. Мы выстрадали демократию!

— Ни хрена мы не выстрадали, — начал обижаться Платонов, — то-то вам по ручкам стукнули, когда вы хотели написать о продажности судьи Черкасовой. Где уж тут демократия. И нет никакой свободы слова! Никакой! Быть не может. Либо вы работаете на правительство, либо на олигархов, что ещё хуже.

Бабель на минуту растерялся и даже остановился, пытаясь подобрать записанное от возмущения возражение.

— А что? — остановился в свою очередь Константин. — Всё просто. При коммунистах можно было ругать буржуев, при буржуях можно ругать коммунистов. Всё логично и просто. В России можно ругать Запад, на Западе нужно ругать Россию, в Китае можно ругать всех — их всё равно больше. А в племени мумбу-юмбу нельзя только вождя критиковать.

— Вы беспринципны, Костя, и потому пишете о машинах, девушках и спортсменах...

— И о поэтах! — добавил с улыбкой Платонов. — Я не сторонник гламура, но мне нравятся успешные люди...

— Я, по вашим меркам, — поджал губы Бабель, — отношусь к категории неуспешных.

— Неуспешным считает себя сам человек. Я вас за язык не тянул, Виталий Степанович...

Они двинулись дальше, чтобы ещё раз остановиться у входа в кафе, где можно было продолжить беседу, не деля её с редакционной суетой, доходившей порой по степени накала до состояния митинга. У входа стоял неопределённого возраста нищий, с полной безнадёгой в глазах, точнее с единственной надеждой — опохмелиться. Платонов великодушно достал из кармана плаща несколько помятых червонцев и щедро одарил ими просителя.

— Спаси Господи, — пролепетал нищий.

— И тебе того же, — просиял Константин Игоревич, который любил себя во время совершения добрых поступков, не требующих особого напряжения сил. Он уже начал было подниматься по лестнице, но Бабель вдруг застопорился и начал отчитывать молодого коллегу:

— Константин Игоревич, вы, между прочим, таким образом поощряете процветание маргиналов!

— Да ничего я не поощряю, Виталий Степанович, — смутился Платонов, — видно же — мужику опохмелиться край надо. Ну, дал я ему, что в этом плохого?

— Вы дали, другой дал, третий... И он вообще забудет, что такое труд. Тем более что среди этих нищих большинство профессионалы! Да-да, —

поторошился подтвердить он в ответ на недоверчивое выражение лица Платонова, — профессионалы высокого класса. У них доход побольше, чем у нас с вами вместе взятых. Кто-то в поте лица добывает хлеб свой, а иной посто-ял на углу, протянув руку или шапку, и насобирал на ужин в ресторане.

— Ну, может, такие и есть...

— Да каждый первый!

— Не соглашусь, Виталий Степанович, вон у торгового центра раньше годами безногий афганец сидел. Что — он сам себе ноги отрезал, чтобы так зарабатывать?

Лицо Бабеля скривилось, он готов был взорваться от наивности молодого коллеги.

— Константин Игоревич! — буквально вдушил каждую букву в эфир Бабель. — Сегодня каждый инвалид может найти себе достойное применение. Смотрите, даже к этому кафе есть пандус. И, кстати, вы журналист, а не знаете, куда делся этот ваш афганец.

— Ну и куда?

— Умер, умер от цирроза печени. Надеюсь, вы знаете, отчего бывает цирроз печени? Правильно, от неумеренного потребления спиртного. Поэтому каждый сердобольный подающий приближал смерть этого несчастного, вбивал гвоздь в гроб воина-интернационалиста.

Они всё же поднялись в кафе, где с кружками пива и картофелем-фри примостились за столиком у окна, откуда видна была улица. Именно в этот момент, на беду Платонова и на радость Бабеля, к нищему подошёл другой страждущий, и они на глазах обозревателей соединили свои замусоленные капиталы, после чего отправились в ближайший гастроном.

— Ну-с, — подражая девятнадцатому веку, подвёл итог Бабель, — что и требовалось доказать.

— Кто знает, почему эти люди так живут, — задумчиво ответил Платонов, который вдруг утратил в себе радость жизни и впал в некую философскую прострацию.

— Потому что им так проще! Потому что они паразитируют на всех остальных. У меня друг есть в столице, он проводил расследование и вскрыл целое счастье нищих со своими королями, законами, армией. Мафия! — Бабель смачно глотнул пива. — Мафия, мой друг.

— Да за этими какая мафия? — отмахнулся Платонов. — Так, сломанная судьба, нереализованные амбиции, ещё что-нибудь... Может быть, их ваша хваленая свобода раздавила. Не вынесли они её обременительной тяжести.

— Ну, знаете... — Бабель подавил в себе желание выругаться. — Вы бы при коммунистах пожили, когда люди писали в стол!

— Да жил я... И что — сейчас не пишут? Просто раньше была дозированная свобода для всех, а теперь свобода для всех, у кого есть деньги.

— Эх, вам ли сравнивать, молодой человек! Вы не знаете, что такое охотиться за книгой Булгакова или читать в самиздате Аксёнова.

— Зато теперь Аксёновым все полки завалены в книжных, будто других писателей нет.

— Он это заслужил!

— Чем? Если бы литературным талантом... А то ведь проживанием в Париже. Кстати, Виталий Степанович, в Париже я тоже видел нищих... И в Нью-Йорке.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Скорее спросить, это что — обязательные декорации демократии?

— У всякого политического строя есть свои недостатки.

— Вот-вот, потому не надо мне лепить, что какой-то из них может быть лучше.

— Так ещё Черчилль сказал, что человечество не придумало ничего лучше, чем демократия, хоть она и плоха.

— Черчилль? Он что — истина в последней инстанции? Он бы, между прочим, не отказался побыть британским монархом, только предложи. Кста-

ти, если б вы читали не только отца британской демократии Черчилля, но и великого государственника Рузвельта, то узнали бы много удивительного. Например, что главным врагом США Рузвельт считал Черчилля, а не дядюшку Джо. И вообще — ему ещё пару шагов оставалось до построения в Штатах социализма... А вообще... Все эти политики или совсем психи, или в чём-то психи. Где-нибудь среди гладиаторов или зеков они были бы шестёрками. А тут — гляньте-ка!.. И вы, Виталий Степанович бегаете к урнам голосовать, наивно полагая, что так выражается народовластие...

— Константин, вы чего сейчас добиваетесь? — обиделся Бабель.

— Виталий Степанович, это вы мне сделали замечание по поводу того, что я подал денег нищему. Давайте пиво пить... — Платонову уже не хотелось спорить, он с интересом наблюдал, как вышеозначенный дуэт вышел из магазина, направившись за забор ближайшей стройки.

— Да давайте, — вяло согласился Бабель, — вы — молодые — живёте с какой-то бессмысленной, безотчётной лёгкостью. Вы не способны вникать в суть вещей.

Платонов ничего не ответил. Он, покусывая губы, смотрел в окно.

2

В редакции Платонов и Бабель уселись каждый за свой компьютер напротив друг друга и какое-то время ни о чём не говорили. В эфире между ними слегка искрило. Редактор спортивного отдела Леночка Куравлёва, вынужденная быть третьей в этом кабинете, заметила неладное и попыталась всё уладить:

— Мужчины, чай будете?

— После пива? — то ли спросил, то ли ответил Платонов, погружаясь во всемирную паутину.

— А я не откажусь! — словно в пику согласился Бабель.

И уже когда Леночка заварила настоящий — зелёный по-бабелевски, и когда Платонов подсел-таки к столику, она спросила:

— Чего не поделили-то?

— Вопрос, Леночка, философский, — уклончиво ответил Бабель, с удовольствием отхлёбывая зелёный чифирь.

— Да фигня всё, — упростил Константин, — я нищему подал, а Виталий Степанович докопался, будто я тем самым паразитов пложу.

— Сколько дал? — спросила Лена, точно это было важнее важного.

— Да не считал даже... Несколько червонцев...

— Вот-вот, — крикнул Бабель.

— Мысль у меня, — задумчиво продолжил Платонов. — Мысль. Может, стоит материализовать.

— Последний раз, когда у тебя было такое лицо, ты вляпался в судебное расследование и тебя чуть не пристрелили, — напомнила Лена.

— Чуть — не считается, — невозмутимо ответил Константин.

— И что сейчас? — вскинула брови Куравлёва.

— Догадываюсь, — улыбнулся Бабель, — хочешь повторить подвиг моего столичного товарища?

— Хочу понять...

— Ну, тогда, друг мой, — хитро прищурился Виталий Степанович, — надо всё делать по-честному. Берусь договориться с главным, что ты готовишь эксклюзивный материал о маргиналах. Но!.. — Бабель сделал паузу со значением: — Предлагаю заключить хотя бы устный договор об условиях — о вашем, Константин, реальном пребывании на дне...

— Вы что задумали? — испугалась Леночка.

— Не бери в голову, — успокоил её Платонов, — чтобы понять, надо узнать изнутри. Что с того, если на недельку стану божом?

— Не знаю... — задумалась Лена. — Но примерять на себя чужую судьбу... Мне это кажется страшным. Причём на каком-то метафизическом уровне.

— Бросьте вы ваш идеализм, девушка, — раздражённо отмахнулся Бабель, — тут о другом речь. Настоящее журналистское расследование невозможно без полного погружения. Константин Игоревич хочет поиграть в крутого профессионала...

— Вот именно — поиграть, — перебила Куравлёва.

— А я как раз предлагаю серьёзное исследование.

— Условия? — не выдержал Платонов.

— Вы отдаёте мне на хранение все документы, ключи от квартиры, мобильный, берёте с собой минимум наличных средств, одеваетесь во всё старое, в обноски, так сказать, и — лучше всего — отправляетесь в другой город, где пытаетесь выжить неделю-две!.. — сказал, как отстрелил, Виталий Степанович и выжидательно воззрился на оппонента, полагая его скорый отказ.

— Хорошие условия, — задумчиво констатировал Константин. — А что с вашей стороны?

— Костя! — не выдержала и почти закричала Лена. — А если вас убьют, продадут в рабство?! Если вы просто канете в безвестность?! Это же безумие!

— Безумству храбрых поём мы песню, — откликнулся Платонов.

К нему снова вернулось настроение легко проживаемой жизни. Внутреннее созерцание сменилось наружной улыбкой и показной бесшабашностью. Он, что называется, вошёл во вкус новой идеи и даже начал в предвкушении потирать руки.

— С вас-то что, милейший Виталий Степанович? За такую работу одного признания профессионализма и смелости мало! Вы-то свою экзотику на БАМе получали, пусть в балках, но не в трущобах, вы среди комсомольцев вертелись, которые, кстати, потом благополучно разбазарили страну, а не среди людей без прошлого и будущего. Что с вас, Виталий Степанович?

Бабель, выслушав все обвинения, сначала побледнел, потом порозовел, часто задышав от пренебрежительного отношения к своему славному прошлому, снял двояковыпуклые очки, которые как-то вдруг запотели (вероятно, от внутреннего напряжения хозяина), протёр их несвежим платком и, водрузив на переносицу, гордо ответил:

— Первое, Константин Игоревич, если вы вернётесь со стоящим материалом, я напрямую все свои связи в Москве и мы сделаем об этом материал даже на центральных каналах, второе, — Виталий Степанович внутренне напрягся, — мне скоро на пенсию, пора уже, я уступлю вам место редактора отдела.

— Не густо, — улыбнулся Платонов. — Но меня больше подогревает собственный интерес.

— Мужчины — вы сумасшедшие, — заключила Лена.

— И за это надо выпить, — подтвердил Константин.

— Ну, если только чуть-чуть... — со вздохом согласился Бабель. — Соседей звать будем?

3

За тридцать лет своей жизни Константин Платонов успел окончить филфак (а не журфак, за что прожжённые профессионалы его слегка презирали, хотя писал он не хуже, а порой — интереснее и живее, потому как в журналистику привносил литературу), побывал в Вене, Париже и Нью-Йорке, где обучался искусству свободы слова, полгода был в армии, откуда был комиссован после тяжёлого воспаления лёгких с последствиями, был три года женат и пять лет работал в продвинутой и весьма популярной газете...

Самый большой и нужный опыт в жизни он получил именно в армии, а самое большое разочарование — от супружеской жизни.

С Мариной он познакомился в редакции, куда она заявила для осуществления совместного проекта, как представитель местного телевидения. Главный редактор поручил ведение проекта со стороны газеты Платонову.

Марина относилась к категории девушек, знающих себе цену. В меру начитанная, сыплющая неологизмами рыночной экономики и пиаровской тусовки, хваткая и целеустремленная, она с лёгким пренебрежением относилась к собратьям из печатного цеха, считая их аутсайдерами. Но для Платонова она сделала исключение, оценив в процессе совместной работы его ум, креативность, жизнерадостность, и главное — что девушки на него западают легко и быстро, так что “лежалым товаром” он на брачном рынке не стал бы. До супружеских отношений между ними все дошло как-то само собой. Хотя, наверное, больше это походило на взаимную удачную покупку. В постели Марина и Константин оказались буквально на третий день (правильнее сказать, на третью ночь) совместной деятельности. Платонов хоть и летел по жизни без особых раздумий о её смысле и всяческих последствиях от бездумных поступков, но эту ночь застолбил в своём сознании как какой-то элемент счастья на грани сумасшествия. Тело Марины показалось ему предметом зависти Афродиты, а её профессиональные любовные навыки не смущали, а напротив — зажгли в сердце Платонова то, что в литературе принято называть слепой страстью. Он даже не понял, что уже на следующее утро в их паре был вторым...

Марина лепила жизнь по всем правилам американской мечты. Квартира, машина, галоп по иерархической лестнице должностей (не стесняясь двигать локтями, а где-то и чисто женскими прелестями), при этом от природы романтический Платонов, хоть и отупленный современностью, не всегда вписывался в её прагматичные планы. Вот почему три года их связывали друг с другом только безумная страсть и расчёт Марины перевести её в достойное (по её понятиям) совместное проживание. Детей Марина пока не хотела, но как она противостояла в этом вопросе Господу Богу и Природе, Константин не задумывался. Точнее, она сразу расставила точки над всеми буквами нехитрым ответом на его вопрос: “Не заморачивайся, не твоего ума дело, тебе хорошо? И ладно!..” И Платонов “не заморачивался”, наслаждался жизнью и Мариной до тех пор, пока она не стала определять ему список задач на день, как своему подчинённому. Какая бы ни была страсть, но ботаником-подкаблучником Константин себя не мыслил. Марина же относилась к категории людей, которые каждый свой поступок ещё в зародыше считают правильным и готовы оправдать его идейно всеми имеющимися у них доступными средствами, основным и самым тяжёлым из которых является глотка.

Год после развода Константин продолжал платить взносы по ипотеке. Этакая игра в благородного мужа. В то же время как Марина откровенно подыскивала себе следующего кандидата для совместного проживания. Сам он вернулся в однокомнатную “брежневку”, оставленную ему родителями. Неудовлетворённую страсть, выворачивающую наизнанку душу, он пережил почти как наркотическую ломку. Но, выйдя победителем, смог уже иначе взглянуть на женский пол.

Последний его разговор с Мариной состоялся совсем недавно. Она неожиданно пришла к нему за поддержкой. С порога заявила:

- Костя, меня чуть не убили!
- Не верю, — как Станиславский, ответил Константин.
- Ты с ума сошёл! С этим не шутят! Он бросился на меня с ножом!
- Кто? Новый бойфренд?
- Нет! Его бывший любовник!
- Не понял?
- Костя, ты что, в каменном веке живёшь? Не знаешь, что у некоторых мужчин любовницами бывают мужчины?
- Пидарас, что ли? — по-простому спросил Платонов.
- Гы... М... Ды... — Марина растерялась от лобового удара, но быстро нашлась: — Ты груб, Платонов, ты пещерный.
- Зато баб люблю... — Костя осёкся. — Впрочем, после общения с тобой и баб не очень люблю...
- Ты гад! Я к тебе за помощью, а ты!.. — Марина готова была заорать.

— А чем я тут могу помочь? Что, заменить твоего друга в содомских утесах? Уволь.

— Можно я у тебя переночую? Мне нужно всё взвесить в относительной безопасности. Я, — Марина изобразила на лице смущение почти девственности, — даже готова вспомнить, как нам хорошо было...

— А на меня потом эта парочка с ножами не кинется? — ухмыльнулся Платонов. — Кроме того, прости за откровенность и натурализм, мараться после этих...

— Какой же ты гад, Платонов! — вскричала Марина.

— Но переночевать — пожалуйста, — перебил её Константин. — Даже ужином накормлю.

— Ты гад, Костя, но ты мне нужен, — вынуждена была признать Марина.

Утром Марина разбудила его решительным криком из комнаты:

— Платонов! Я решила. Я его оставлю. Буду искать нормального мужика! Желательно в возрасте...

— И с деньгами, — проворчал Константин, поворачиваясь на другой бок, потому как отлежал всё, что мог, на полу на кухне.

— Чего? — не расслышала Марина.

— Импотента! — повысил голос Платонов.

— Издеваешься?

— Импотент — по-английски — важный. Поняла?

— Остряк! Вот на это тебя всегда хватало.

— Ну так... Деньги за это платят как-никак.

4

Последние годы с природой творилось нечто несуразное. Разумеется, толковые учёные объясняли это парниковым эффектом и последствиями бурной деятельности человечества. Северяне ждали всемирного потепления, чтобы открыть пляжный сезон на берегу Северного Ледовитого океана, а южане с опаской смотрели на морские пучины, грозящие слизнуть в одночасье обжитые под солнцем места. И всё же человечество продолжало жить “на авось”. Сколько ни писал Виталий Степанович о Киотском протоколе, ничего в мире не менялось. Права и свободы человека вступали в явное противоречие с правами и свободами матери-природы. Поэтому в июне шёл снег, а в декабре вдруг распускались весенние цветы. Виталий Степанович старательно перерывал катрены Нострадамуса, пытаясь найти ответы на волнующие его вопросы о будущем, а Константин любовался и наслаждался продлённым теплом поздней осени.

— Интересно, болдинская осень — такая же? — задавался вопросом он.

— Друг мой, — возмутился Бабель, — вы опять непросчитительно поверхностны!

— А чего усугублять? Виталий Степанович, вы ж всю жизнь за что-то боретесь, а результат? Лучше наслаждаться процессом!

— Даже если этот процесс — конец света? Или пока этот процесс не по вашему делу?

— Виталий Степанович, — дружелюбно улыбнулся Платонов, — выключите ваш процессор! Посмотрите вокруг! Лепота!

— А я, между прочим, Константин, арендовал ячейку в банке.

— Чего? Зачем?

— Как зачем? Положу туда ваши документы, деньги, кредитки, мобильный, ключи от квартиры... Или, — с надеждой прищурился Бабель, — вы передумали?

— Ну, скажете... Мы с вами, Виталий Степанович, о сроках не поговорили. Сколько мне божжевать-то?

— Думаю... — и Виталий Степанович действительно задумался: — Думаю, недели, нет, дней десяти хватит. Потом назовём материал: “Декада маргинала!”. Каково?

— Подумать надо...
— Над сроком?
— Над названием. Вы же всегда меня учили: заголовок — полдела!
— Ну да, да... А срок?
— Десять дней? — Платонов выразительно покрутил сложенными в бабочку губами: — Рискнём. И вот что, Виталий Степанович, если у меня все выгорит, то не надо вам на пенсию... Я не потому в грязь лезу, чтобы место под солнцем забить, я, как вы говорите, жизнь изнутри хочу узнать.

Виталий Степанович посмотрел на Константина с подчёркнутой гордостью, как смотрит учитель на лучшего своего ученика. Потом и он позволил себе полюбоваться просветлённым осенним небом с плывущей от горизонта к горизонту лёгкой облачной паутиной.

— Не люблю задирать голову, — признался он, — однако сейчас мне буквально передалось ваше состояние полета, Константин Игоревич. Но, — тут же оговорился он, — я, в отличие от вас, всегда помню, что за этой голубой взвесью чёрная бездонная пропасть! И звёзды в ней, как шляпки гвоздей в подошве сапога!

— Круто, Виталий Степанович, — признал Константин, — я бы до таких метафор не дотумкал. Вот луну поэты сравнивали с лампой, с глазуньей, кто-то из молодых — с лицом китайца, а вам после шляпок гвоздей надо что-то позабористей придумать.

— Чего придумывать, — хитро прищурился Бабель, — луна, если вы такой небожитель и замечали, бывает красной, даже багровой.

— Ну?

— Так вот, это сигнал светофора. Бывает жёлтый — предупреждающий, бывает красный... Топка преисподней!

— Бррр... — поёжился Платонов, — Образная система у вас, Виталий Степанович... Прямо скажем, декаданс какой-то.

— Какая есть, — угрюмо ответил Бабель. — А вообще я решил так, я поеду с вами. Ну, так сказать, засвидетельствовать хотя бы начало для чистоты эксперимента. Не возражаете?

— Не доверяете?

— Да почему, милейший Константин Игоревич?! Может, я просто хочу тряхнуть стариной. Думаете, я всю жизнь просидел в редакционной норе?

— А то я не знаю, как вы мотались по комсомольским стройкам, буровым, стойбищам...

— Ну так поедем?

— Хотите — поедем.

Бабель вдруг смутился и, точно нашкодивший школьник, признался:

— Константин Игоревич, я, конечно, пошутил насчёт ячеек в банке. Так, завести вас хотел.

— Завели, — улыбнулся в ответ Платонов, — можно ехать.

5

Есть такие районные центры вдоль Транссибирской магистрали, где жизнь остановилась с самого основания. Как это определить? Просто сойти с поезда на станции и вдохнуть воздух. Этого будет достаточно, чтобы понять — время здесь законсервировано. Оно дышит прошлым, и сколько в него ни доливают современности — она растворяется в этом стоячем воздухе. И окна домов в таких городах грустные и созерцательные. Они смотрят в мир так, как смотрели сто и двести лет назад. За стёклами мутный неприятный быт и цветочные горшки, пережившие нескольких хозяев. И пусть сегодня магазин на привокзальной площади называется “24” или “У Кузьмича”, сквозь новое название всё равно читается “Горторг”. Можно ещё подойти к стене старого станционного здания — вокзала — и потрогать его гладкие, чаще всего красные кирпичи, облизанные ветрами и скоростью пролетевших мимо поездов.

Именно на такой станции сошли Платонов и Бабель, причём первый ещё

с подножки вагона заявил, что такие города нужны, дабы почувствовать вкус времени.

— Интересно, а пирожки с ливером по четыре копейки здесь есть? — по-своему воспринял окружающий мир Бабель.

— Население тысяч сто, — сделал предположение Платонов.

— Сто восемьдесят, — обиженно поправил проходивший мимо ремонтник в фирменной оранжевой куртке.

— Значит, есть где развернуться, — иронично порадовался Платонов.

— Далеко ходить и не надо. Вся нужная нам жизнь кипит на вокзале, — скептически заметил Виталий Степанович.

— Так уж и кипит? Вон — кран для заливки воды в паровозы, и там ничего не кипит. Это здание было построено... — Платонов возрился на дату, выведенную в кирпичной кладке под крышей: — Ого! В начале прошлого века! Мне кажется, нам следовало выбрать областной центр...

— Пойдёмте лучше вон к тому магазину, коллега. Мне кажется, это подходящее место для таких... Гм... Как мы.

— А в “аляске” мне жарко. Снега-то нет. Осень нынче, как будто август задремал...

— Я ещё раз вам повторяю, вам бы телогреечку попроще, а вы вырядились, Константин, как на интервью к губернатору...

— Скажете... В лучшем случае — на сельхозработы.

— Смотрите, — придержал за рукав Платонова Бабель, — кажется, вон наш контингент.

У магазина появились два мужчины характерного вида. На одном из них была надета как раз упомянутая Бабелем телогрейка. Испитые лица рыскали едкими взглядами по округе в надежде увидеть знакомых или, наоборот, посторонних, у кого можно было бы “зашибить деньги”. Платонов тут же подумал, что этим бы точно не подал, ибо в них чувствовалась внутренняя агрессивность и ненависть ко всему окружающему.

— Точно? — переспросил он мудрого коллегу.

— Куда точнее, — подтвердил выбор Бабель. — Экстрима хотели? Получайте.

— Ну-ну... — покачал головой Константин.

У него оставалось время (пока они приближались к парочке неуверенным, типа прогулочным шагом) проводить визуальное обследование. Один был высокий и крепкий, одетый в заляпанное чёрное пальто, второй (в той самой телогреечке), малорослый, круглоголовый, из тех, что на подхвате, суетливый и заискивающий, но с тем же презрением в глазах, словно копировал своего товарища. Нет, эти не “сшибали деньги”, не кланчили, эти добывали всеми доступными способами. И чем ближе Бабель и Платонов к ним подходили, тем больше сомневался Константин, что это стоит делать. Бабель, между тем, вышагивал так, будто шёл на встречу с одноклассниками через сорок лет. Высокий сразу заприметил журналистов и теперь выжидательно и нагло вато смотрел на Платонова.

— Здорово, мужики, — попытался поприветствовать Константин.

— Мужики — в поле, — хохотнул навстречу маленький.

— Здорово, — неожиданно миролюбиво, но без каких-либо эмоций и протягивания рук, ответил высокий.

Дальше требовалась разученная и утверждённая Бабелем легенда, но Константинина вдруг понесло в импровизацию.

— С поезда мы.

— Видели, — подтвердил малорослый.

— Ссадили нас. Бухнули... Документы... бабки... короче, всё... Блин, такие дела. На севере работали. — И зачем-то глянул на часы, забыв, что на руке у него подаренный редакцией на тридцатилетие “Tissot”. — Да, на севере, бабки заколачивали, — словно оправдывая оплошность, продолжил Константин, — а теперь хрен знает чё делать...

— К мусорам идите, в линейный, — холодно посоветовал высокий. — Справку дадут, с билетами помогут... Наверное...

— Похмелиться сначала надо. Башку ломит. — Платонов достал из кар-

мана мятую тысячу. — Вот, в куртке не нашли. Где тут намахнуть по маленькой можно?

— Да везде, — ухмыльнулся маленький. — Можно в кафе на вокзале, но “У Кузьмича” дешевле будет. Водка не палёная, нормальная. А пирожки везде деревянные.

— Меня Костей звать, — решил протянуть руку Платонов.

— Фёдор, — ответил тот, что в телогрейке.

— Костя, — нацелил длань в высокого Платонов.

— Виктор, — высокий протянул-таки руку, но так, будто делал одолжение. — Работяги, значит? — прощупал недоверчивым взглядом.

— Ну да, — ответил Константин и сразу почувствовал, что звучит фальшиво. — А это Степаньч, раньше профессором был, но в девяностые — сами знаете — профессоров никому не надо было, — импровизировал на правдоподобие Платонов.

— Профессор? — протянул руку Фёдор. — Похож. А на севере чё делал?

— Помбуром, — не моргнув глазом ответил Степаньч, и у него получилось куда как правдивее, чем у молодого коллеги. — Ну так как, за знакомство?

— А чё — нет? — поддержал вопросом Фёдор и обратился взглядом за поддержкой к Виктору.

— Можно, — равнодушно согласился Виктор. — А сумки — чё? Тоже увели?

Платонов и Бабель озадаченно переглянулись. Ответили почти в голос:

— Ну...

— Понятно. Клофелин, поди. Шас на станциях наклофелиненных хвастает. Ходят — память ищут. А чё ссадили-то? — он цепко проверял легенду.

— Да вон, — опередил молодого неопытного коллегу Бабель, — Костя бузить начал. Проводнице нахамил, начальнику поезда в морду дал, ментов матом крыл... Понять можно, зарплату за вахту и вещи — всё увели. А эти ещё предьявлять начали... Чуть не закрыли обоих.

— Так, значит, вам в линейное нельзя. Ребра в воспитательных целях переломают.

— Нельзя, — вздохнул Бабель. — Надо как-то до другой станции. Паспортов-то нет.

— Ладно, скумекаем чё-нить, — рассудил Виктор. — Ты в магазин-то идёшь? — обратился он к несколько растерянному Платонову. — У нас ещё дела есть.

— Ага, — торопливо подтвердил Фёдор.

— Водяры? — спросил Платонов, как будто хоть кто-то подразумевал что-то другое. — Куда двинем? — снова спросил Константин, появившись буквально через пару минут на крыльце.

— Во дворец, — переглянулись Виктор и Фёдор.

— Во дворец, — ещё раз подтвердил Виктор.

6

Дворцом оказался старый двухэтажный купеческий особняк из красного кирпича на соседней улице. Он печально смотрел на улицу осколками почерневших от грязи и копоти стёкол, во дворе лежали обломки ворот, а на крыше, точно крупные ржавые стружки, загибалось листовое железо. Обычно такие выкупали какие-нибудь фирмы, чтобы прижиться в памятнике архитектуры и, что называется, продолжить традиции. Фирмачи окружали здания заборами из чугунного литья, с фасадов смотрели на прошенных и непрошенных гостей камеры. И каждый кирпичик был надраен и покрыт лаком. Внутри же проводился не то что “евроремонт”, а ремонт, если говорить в рамках ценовой политики — “космический”. Молчаливые таджики “реставрировали” такие здания сотнями по всей России.

Но на этот дом, по всей видимости, покупателя не нашлось. Или в го-

роде не было способной на такие траты фирмы, а у городской администрации до подобного “ветхого” жилья не доходили руки и средства.

— Яичная кладка. Вечно стоять будет, — потрогал стены Виталий Степанович.

— Чего? — не понял Фёдор.

— Раствор делали на яйцах, — пояснил Бабель.

— На чьих? — ухмыльнулся Фёдор.

— На куриных. Так прочнее. Здесь всё может сгнить, а стены, если специально не ломать, ещё вечность стоять будут. Даже если ломать, то попотеть придётся.

— А-а-а... — потянул Фёдор. — Профессор, я ж забыл.

Парадное было наглухо заколочено дюймовыми досками, но со двора затхлым мраком зиял другой вход. На первом этаже прохожие и случайные жители сделали отхожее место. Дышать там было невозможно, и потому все поспешили на второй этаж, куда вела разбитая, потерявшая перила и звенья лестница. Перешагивая провалы, поднялись на второй этаж, где, к удивлению журналистов, открылась почти жилая комната. Полы были целыми (“матица-то о-о-о!” — попрыгал в подтверждение прочности Фёдор), у одной стены стоял засаленный, но вполне целый диван, у другой — подобие кушетки, в центре — испещрённый похабными надписями и “ножевыми ранениями” стол, две вполне пригодных табуретки и два пластиковых ящика из-под стеклотары. Разумеется, пол был завален пищевым и прочим мусором и остатками полиграфической продукции разных эпох.

— Жить можно, — оценил обстановку Бабель.

— А то! — подтвердил Фёдор, сметая со стола рыбы кости, потроха и чешую — свидетельство предыдущих пивных посиделок. — Эти придурки даже отопление ещё не выключили. Развеивают народное тепло. Правильно, газа-то в стране, как воздуха.

— Стаканы? — озадачился Бабель.

— Я разовые взял, — успокоил Константин.

— Водку из горла — не гигиенично, — прокомментировал свой вопрос Виталий Степанович.

— Интеллигенция... — наконец-то подал голос Виктор, усаживаясь на самый приличный табурет, и длинно заковыристо выматерился. — Ладно, наливай, — снизошёл он.

— За знакомство, — предложил Фёдор, все чокнулись хрупким пластиком и уже молча выпили.

Закусили солёными огурчиками “Дядя Ваня” по-берлински”, пирожками с картошкой, быстро разлили по второй, снова закусили, а перед третьей Бабель попытался завязать беседу, отчего Платонов почувствовал себя лишним. Получалось, это не он, а Бабель сейчас “погружается” в другую жизнь.

— А что, мужики, где-то по-лёгкому здесь на билеты заработать можно?

Виктор и Фёдор посмотрели на пожилого журналиста с сомнением и одновременно нескрываемой иронией. Так, пожалуй, смотрят успешные торгаша на прижимистых покупателей с бюджетными зарплатами.

— Паспорт-то не заработаешь, — напомнил Виктор.

— Да, валяется сейчас где-нибудь на перегоне, — наигранно-огорчённо вздохнул Бабель.

— Часы продай, — подсказал Константину Фёдор, — крутые котлы, на такси хватит.

— Да... Подарок... Но если надо, продам, — неуверенно ответил Платонов. — Давайте ещё по одной.

— А кто против? — радостно оскалился Фёдор, обнажая стальные фиксы.

Виктор, между тем, посмотрел на Платонова едким пронизывающим взглядом, и последнему показалось, что тот видит даже три тысячных купюры у него в носках. Платонов под этим взглядом торопливо налил.

— А ты, Костя, кем работал, до того, как в буровые подался? — спросил Виктор.

— Да так, — немного растерялся Платонов, вспоминая легенду, — писал, переводил, в газетах подрабатывал...

— Писатель что ли?

— Не, писатель круче, для этого талант нужен.

— Талант везде нужен, — подытожил Фёдор, — давайте, — он поднял стакан, — за талант.

— А где — если что — переночевать можно? — спросил, не закусывая, Виталий Степанович.

— Да здесь можно, тепло пока, — ответил Виктор и переглянулся с Фёдором.

— Так это, наверное, ваша хата? — спросил Платонов.

— Не, — покачал головой Виктор, — не наша... Здесь так, бухнуть. Бабу приличную и то сюда не привести. Бомжи здесь часто.

— А вы чем занимаетесь? — как бы между делом поинтересовался Виталий Степанович.

— Всем помаленьку, — отрезал Виктор таким тоном, который не предполагал развёрнутого ответа.

— Ну да, понятно, — зачем-то и с чем-то согласился Виталий Степанович.

— Слышь? — вскинулся вдруг на него Виктор. — А чё вы от нас хотите? А? Чё надо-то? Я чё, на лоха похож?

— Ты чё, брат? — попытался восстановить статус-кво Платонов. — Чё поднялся-то? Сидим спокойно...

— Ты наливай, давай, по вам же видно, что чё-то вынохиваете. На какую контору работаете? Ты, дядя — очкарик, — вернулся он снова к Бабелю, — по тебе же видно, что ты профессиональный нохач. Чё, не так?

— Да ты, Виктор, не кипятись, — Бабель вдруг потерял свою “опытную” уверенность и, что называется, поплыл, в отличие от Платонова, который, напротив, казался спокойным.

Фёдор с интересом наблюдал за допросом и почему-то хитро подмигивал Константину. Мол, вот как он его. Точно Платонов был с ними заодно.

— Может, всё-таки выпьем? — спросил Платонов.

— Да выпьем, выпьем, — не глядя в стакан, хлебнул Виктор, но на Бабеля смотрел так, словно вот-вот припечатает его своим кулаком в наколках.

Бабель, не в силах выдержать его надменного взгляда, переключился на банку с огурцами.

— По-берлински, как будто не могут по-русски сделать... — зачем-то сказал он.

Следующей целью Виктора, как и следовало ожидать, стал Платонов. Он в это время открыл вторую бутылку и разлил. Виктор выпил, не дожидаясь остальных, и прищурился на Платонова, который тут же наполнил его стакан на треть.

— Шестерись? — ухмыльнулся он.

— В камере шестерят. А я просто по-человечьи. Хочешь — пей, не хочешь — никто не льёт за шиворот. — Константин знал, что отступать перед такими людьми нельзя. Чуть сдал назад — и ты в полной зависимости.

— Под тёртого косишь? — склонился в его сторону Виктор, и Платонов понял, что всё закончится мордобоем. Он с сожалением глянул на Бабеля, который тоже начал понимать, что здесь его опыт и журналистский азарт не имеют никакого веса. Выглядел Бабель жалко и растерянно. Константин же попытался напоследок выпутаться.

— Ладно, хорош бухать, пойдём мы.

— Да, пора, — поддержал Бабель и даже поднялся.

— Сядь, чмо! — гаркнул вдруг Виктор так, что Бабель заметно вздрогнул. — Сядь, я сказал!

Фёдор в этот момент ногой с силой подоткнул ему под ноги пластиковый ящик, на котором он только что сидел, Бабель едва устоял, и вынужден был вернуться на место. На лице у Фёдора при этом не было и доли агрессии.

— Чё торопишься-то? — притворно-дружелюбно спросил он.

— В мусарню успеешь, — добавил Виктор.

Теперь уже Платонов выпил, не объявляя тоста, и налил себе ещё.

— Чистишь, — заметил ему Виктор.

— Душа просит, — его же тоном ответил Константин, пытаясь хоть как-то представить диспозицию будущего боя. Какое-то время Платонов увлекался модными восточными единоборствами, но прекрасно понимал, что мастера рукопашного боя побеждают только в кино. Эффектно и стремительно. Но сейчас он предпочел бы рвануть, не оглядываясь, по лестнице или прямо в окно. Рванул бы, если б не Бабель, который даже не догадался снять свои двойковыпуклые очки, под стёклами которых так явно проступал испуг. Главное, что понимал в этот момент Платонов — он теряет драгоценные секунды, необходимые на нанесение превентивных ударов. Что-то мешало ему — не страх даже, — а именно ненужная в таких случаях порядочность. Нельзя бить первым? Да кто сказал, если ты точно знаешь, что тебе сейчас отвесят по полной или саданут под сердце финский нож? Совсем не к месту вспомнился недавний спор с тем же Бабелем, который, начитавшись псевдоисторика Суворова-Резуна (а по сути, предателя), доказывал, что Сталин первый должен быть напасть на Гитлера, а тот его упредил. Константин ответил тогда с явным раздражением: да надо было шибануть, а не катиться до Москвы, чтоб вылезать потом из берлоги. И что теперь мешало самому?..

— Пойду отолью, — объявил вдруг Фёдор, с блаженной улыбкой поднимаясь с табурета, и на какое-то мгновение бдительность Платонова облегчённо вздохнула: может, не всё так плохо и сейчас разрядится?

— Мне тоже надо, — использовал он возможность подняться на ноги, но пожалеть об этом не успел.

Откуда-то (из-под дивана что ли?) в руках у Фёдора появился внушительный обрезок трубы, которым он с разворота ударил Константина по голеням обеих ног. Платонов упал подкошенный, даже не чувствуя боли. Боль рассыпалась по телу осколками большой берцовой кости уже после второго удара, нанесённого по тому же месту с другой стороны. Эх, а какой-нибудь Брюс Ли подпрыгнул бы над летящей в ноги трубой и разрядил спружиненные пятки в висок противника!..

Последнее, что увидел Константин, перед тем как Виктор ударил его ногой в лицо, была окровавленная седая голова Бабеля, словно отрубленная, безжизненно упавшая сначала на стол, а затем — на пол. Вместе с ударом хрустнули под другой ногой Виктора двойковыпуклые очки старого журналиста.

7

Не было ничего... Мир обрушился так, как это происходит после безумной пьянки, когда вернувшееся сознание судорожно задает вопросы типа: где я, что я начудил, где нагадил и т. п. Ещё секунду назад тебя вообще не было, и даже не было ощущения, что вообще могут быть сферы, где ты только что пребывал. Остаётся только чувство несправедливо утраченного времени, определяющееся вопросом: я что-то пропустил?

— До сих пор верил, что на том свете всё же что-то есть... — обозначил своё возвращение голосом Константин Платонов.

— А ты думал, всем, кто получил пяткой в лоб, тот свет показывают? — ответил ему тихий женский голос.

Константин ещё ничего не видел, кроме неясно проступающих в полумраке какого-то помещения граней потолка и стен, куда смотрели его чуть приоткрытые глаза. Вместе с сознанием вернулась боль. Она вполне осязаемым естественным наполняла голову, нороя вновь вытолкнуть, оборвать тонкие нити, связывающие мозг с ещё не понятым внешним миром. Спасала от этого вибрирующая боль в обеих ногах, которая словно уравновешивала оба источника на неких метафизических весах, не позволяя одной из чаш погрузиться в зону небытия. Вот чашу головы кто-то нежно и совсем чуть-чуть приподнял, а она пообещала выплеснуться всеми мозгами наружу через рот,

невыносимая тошнота подступила комком к горлу. Но губы ощутили поднесённую добрыми руками влагу и всё же раскрылись, надеясь протолкнуть, смыть этот тошнотворный комок обратно.

Платонов сделал глоток, затем второй... Больше не мог, боялся приступов рвоты. Но никто через край и не лил. Голову вернули на место, весы качнулись между двумя импульсами боли и вновь замерли, чуть колышась то в ту, то в другую сторону. Влагой словно промыло коридоры памяти, и со страшным испугом от произошедшего Платонов спросил:

- Где Бабель? Что с ним?
- Кто?
- Со мной был мужчина, седой такой? Его убили?
- Почти, в коме он. Думают отключить аппарат.
- Какой аппарат?
- Искусственного дыхания... И-вэ-эл...
- Зачем?
- Не видят смысла.

— Что значит — не видят смысла? — Платонов рванулся вперёд, мгновенно вспомнив сотни душеспитательных историй о коматозниках, о родственниках, поставленных перед трудным выбором. Но рывок стоил ему нового провала в небытие.

Следующее возвращение было более осознанным и осторожным. Теперь мир не наваливался всем своим ужасающим новорожденного материализмом, теперь учёный болью Платонов крался к нему, чуть приоткрывая веки.

— Аппарат выключили? — первым делом спросил он.

— Пока нет. При вас же никаких документов... Бомжей никто стараться вытаскивать не станет.

— Вот старый дурак! — выругал Бабеля Платонов. — Он известный журналист.

— А ты? — вместе с вопросом над ним появилось лицо девушки.

— А я — так себе, — ответил Константин, пытаясь изо всех сил определить, чего ему ждать от этого образа. — Надо срочно позвонить. У вас есть мобильник? Надо позвонить в редакцию, предупредить. За нами придут. Как тебя зовут?

— Мария... Маша...

— Маша... — повторил Платонов, пытаясь проникнуть в глубину каштановых глаз, — а меня — Костя. Константин. Хреново мне, Маша.

— Я знаю, — ответили полные губы, и прядь тёмных волос, выскользнув из-под белого колпака, коснулась платоновской щеки.

Даже невзирая на помутнённое болью и тошнотой сознание, Платонов мог воспринимать женскую красоту. Если не как мужчина, то хотя бы как какой-никакой художник. И не сказать об этом тоже не мог.

— А ты красивая, Маша. К сожалению, ничего умнее я сейчас придумать не могу.

— И не надо. Незачем.

— Да, пожалуй, не надо. Представляю себе сейчас свою морду...

— Синдром очков...

— Синдром чего?

— Это от сильного удара в лоб. Отёки под обоими глазами.

— Кррысавец! — процедил со стоном Константин. — А ноги?

— На одной — гипс. Вторая — сильный ушиб. Повезло, что не обе.

— Я в травматологии?

— Да, в районной больнице.

— Экстрим.

— Чего?

— Хотел острых ощущений, получил по полной программе.

— Не ищущай Бога.

— Чего?

— Ладно... Тебе спать надо.

— Ты уйдёшь?

— Да, у меня ещё больные. В туалет хочешь?

- Ты мне подашь утку? Я стесняюсь...
- Я подам, потом выйду, позовёшь.
- А воды ещё можно?
- Конечно... Приготовься, сейчас приподыму голову...
- Скажи, чтобы Бабеля не отключали...
- У него есть родственники?
- Даже не знаю... Он живёт один. Ты могла читать его статьи...
- Я не читаю газет и журналов.
- Совсем?
- Почти.
- Есть тут кто-то главный? Надо сказать, чтоб его не отключали.
- Сейчас ночь. Не отключат. Завтра будут решать. Но аппарат один, если привезут кого-то, кого нужно будет спасать, могут...
- Да нельзя же! — рванулся вперёд Платонов и разбился о тёмную стену.

8

Все районные больницы похожи одна на другую серым холодом. Цвет стен всегда серо-голубой или серо-зелёный, даже если розовый, то с проступающей вечной серостью. И цвет кафельной плитки в операционных, даже если подразумевает белый, то всё равно с оттенком серого. А от стен, словно они просверлены миллионом микросвёрл, тянет лёгким, но терпимым холодком. Как бы ни топили коммунальщики, холодок этот непобедим. Пожалуй, он даже не климатического, а мистического характера. И ещё запах... Запах, в основе которого хлор и прелый дух плохо постиранного или уже пропитанного потом белья... Именно в районной больнице брэнность жизни видна невооружённым глазом, а человеческие страдания, вызванные болезнями, травмами, увечьями и ранениями, обнажаются со всей своей обезнадеживающей силой. Платонов как-то писал о самоотверженности врачей одной из районных больниц, которые за нищенскую зарплату умудряются поднимать на ноги, а правильное сказать — выхаживать больных с самыми удручающими диагнозами. Статью он хотел сопроводить фотографией здания. Сделал несколько снимков фасада, а когда рассматривал их на экране компьютера, никак не мог отвязаться от мысли, что перед ним старая мастерская, депо какое-то, но никак не больница. Очень хотелось разместить над входом вывеску “Ремонт тел”. Он снова вернулся в больницу с фотоаппаратом, пытался снимать врачей, сестер, санитарок, но даже сквозь натянутые улыбки проступала сопричастность страданию. И тогда он увидел в окне маленькую часовню и сразу подумал: а вот и “ремонт душ”. Фотографию часовни и разместил на полосе вопреки непониманию всего редакционного коллектива. Мол, речь-то о больнице, при чём тут часовня? “На неё не больно смотреть, — ответил Константин Игоревич и настоял на своём варианте визуального ряда. — Это больница, а не боль в Ницце”. После этой работы он пару месяцев не мог брать в руки глянецовые журналы, его тошнило от искусственной цветной жизни, ползущей, как плющ, по их страницам.

Платонов почувствовал приближение Маши издалека. Почувствовал, потому что ждал его, потому что больше ждать было некого. Она склонилась над ним, зажимая между пальцев целый пучок шприцев, как несколько сигар, со словами “надо уколоться”, а он увидел вдруг, как лучи поднимающегося за окном осеннего солнца образуют над её головой сияние, похожее на нимб. Отступившая, точнее, притупившаяся боль позволила ему увидеть, что Маша обладает смуглым лицом южанки, что выбившиеся из-под колпака локоны слегка вьются, а брови похожи на взмах крыльев гордой птицы. И только чуть опущенные уголки полных губ немного портили общее очарование, губы словно хранили какую-то затаённую печаль, и потому маленькая родинка на левой щеке будто соскальзывала с неё вслед за ними.

— Я не люблю, когда на меня смотрят с вожделием, — заметила Маша, поочередно нажимая на пластиковые поршни, как на клавиши.

— Я смотрю с восхищением, — немного обиделся Константин, — как-то не возделается в моём нынешнем состоянии.

— Извини... Мне всё время кажется, что на меня так смотрят...

— Это ты извини. Как там Бабель?

— Кто?

— Ну... Мой коллега. Который на искусственной вентиляции.

— Так же.

— Мне нужно позвонить.

— А в туалет?

— Что?

— Утро. Всем надо в туалет.

— И?..

— Я подам тебе судно.

— Н-но...

— Я выйду. Позовешь, снова приду. Тебе пока повезло. Ты в палате один. Днём могут ещё поступить. Так редко бывает, чтобы один в палате.

— Будь я проклят со своей идиотской идеей! Будь... — он хотел сказать “проклят Бабель”, но вдруг подумал, что Виталию Степановичу и так уже хватит.

— Никогда не проклинай никого. И себя тоже.

— И всё же, мне нужен телефон.

— Держи, — Маша достала из кармана халата старенькую “Нокию”.

— Я верну деньги за разговор.

— Глупости... — Маша отошла в сторону.

Недолго думая, Константин набрал по памяти номер мобильного главного редактора.

— Максим Леонидович! Максим Леонидович! Простите, что беспокою утром... Да, это я, Костя... Почему неизвестный номер?.. — далее Константин кратко, но ёмко пересказал всё, что случилось с ним и Бабелем за последние сутки.

— Вы идиоты! — после паузы не зло, но внушительно высказался главред. — Вы идиоты, ребята.

— Максим Леонидович, Степаньчу могут в любой момент отключить “и-вэ-эл”.

— Что?

— Искусственную вентиляцию легких. Надо что-то делать. У меня нет денег и документов, часов и телефона. Короче, ничего нет. Даже обуви.

— Будем думать, — озадачился главред. — Я могу перезвонить на этот номер?

— Он может перезвонить на этот номер? — переспросил у Маши Платонов.

— Дежурство у меня сейчас заканчивается, но пусть перезванивает. Ещё я скажу ему номер поста. — Маша взяла телефон, назвала номер, потом выслушала ещё что-то от Максима Леонидовича и ответила: — Да, всё именно так плохо. Меня? Мария... Мария Сергеевна. Да. Хорошо. А куда он денется? Будет лежать и ждать.

9

Мария оказалась права. К полудню в палату к Платонову доставили — прикатили нового больного. Это был грузный мужчина лет шестидесяти, который, собственно, пострадал из-за своего веса. Неудачно ступил на лестнице, съехал на задку по ступенькам, в результате — сломал и копчик и крестец.

— Три недели пузом кверху! — жаловался он. — Три недели на больничной пище да ещё клизмы! Ну, сосед, зажимай нос! А ещё я храплю. На спине — вообще оркестр — штукатурка с потолка посыплется...

— Да ладно вам, Иван Петрович, — успокаивала его заступившая утром на дежурство медсестра Лера.

— Чего — ладно?! — не унимался Иван Петрович. — Я тут сгнию за три недели! Вы мне ещё катетер поставьте, чтоб уж совсем ничего самому не делать. Обезболивающим уже накололи так, что забалдел уже. Слышь, сосед, сюда привезли — говорить от боли не мог, во как задница в голову отдаёт, а щас — накололи — торкнуло, даже кайфую! Но три недели я не выдержу!

Лера поправила под ним подушки и, стараясь казаться умной, сообщила:

— Мария говорит в таких случаях, что Бог попускает нам болезни, дабы мы задумались о бренности нашей жизни.

— Маша? Магдалина что ли? — перепросил Иван Петрович.

— Да, напарница моя, знаете же.

— Да кто ж её не знает. Только я про бренность жизни лет двадцать назад понял. Правильно, конечно, говорит, философски, но философствовать легко, когда у тебя кости целые. А когда позвоночник в трусы сыплется, как-то не до философии. Точно я говорю, сосед? Тебя как зовут-то?

— Константин, — представился Платонов, с трудом повернув голову, приходилось всё время преодолевать тошноту.

— О! — обрадовался чему-то Иван Петрович. — У тебя очки, как у Джеймса Бонда. Во как фингалы-то порой художественно ложатся. Ты головой треснуешь или ногами, не пойму?

— Параллельно...

— В смысле — параллельно?

— Головой и ногами.

— Умелец!

— Да напали на него, — пояснила, выходя из палаты, Лера, — если б вовремя не подобрали, ещё бы и замёрз.

— Во как! Это в нашем-то Мухосранске! Дожили! Приезжий?

— Да... Журналист, — упредил следующий вопрос Платонов, которому трудно было разговаривать из-за головокружения.

— Ага, — понял что-то для себя Иван Петрович. — А я пенсионер. Машинистом на станции больше сорока лет отработал.

— Почему вы Машу Магдалиной назвали? — спросил Константин, этот вопрос свербел в голове с тех пор, как он услышал Машино прозвище.

— Да все так зовут... — как-то растерялся Иван Петрович. — Магдалина да Магдалина... А почему? Так, слышал, что судьба у неё трудная была... Она то ли детдомовская, то ли сирота, медучилище наше закончила, поехала в Москву в мединститут поступать, не поступила... Ну... — Иван Петрович ещё больше смутился: — Там, говорят, в борделе работала, чтоб с голоду не умереть... Потом сюда вернулась, уж сколько-то лет в больнице работает и, опять же, говорят, в церковь часто ходит. У нас две — церкви-то. Две. Одна здесь, недалеко от больницы, а вторая — на выезде. Улица-то главная вдоль железки идёт. Вот если по железке ехать, то церковь ты видно, а эту, которая рядом, нет. А ты чего спросил-то? — пресёк свою откровенность и одновременно лекцию о местных достопримечательностях Иван Петрович.

— Да так... Не знаю... Интересно просто...

— Вам, журналистам, расскажи. Вы потом всё с дерьмом смешаете! — сосед недобро нахмурился. — Вторая древнейшая, во как про вас говорят.

— Ну да, — не стал спорить Платонов, — дерьма за последние годы журналинги понаделали.

— А чё ж там работаешь?

— Ни хрена больше не умею. Да и не все такие, как вы говорите. К нам ведь как относятся: как поругать — это как родную милицию, а когда уже и обратиться больше некуда — бегут к журналистам: предайте мою историю гласности. Не так разве?

— Слышал я, — вспомнил вдруг Иван Петрович, — что вроде как профессия журналиста опаснее, чем... не помню даже. Опасная, короче.

— В две тысячи пятом погибло сто пятьдесят четыре журналиста, в шестом — сто пятьдесят пять, в седьмом — сто тридцать четыре... В основном — убиты. Только шестая часть — в результате несчастных случаев.

— Не хило, — признал Иван Петрович, — так вам молоко надо за вредность давать.

— За нашу вредность, — улыбнулся Константин.

Иван Петрович почувствовал в Платонове неплохого парня и улыбнулся в ответ.

— Дак это тебя при исполнении? — кивнул он на гипс, но ответить Платонов не успел, в палату вошёл доктор.

— О! Вот и наш ночной движда! — поприветствовал он с порога Платонова.

— Кто? — удивлённо переспросил Константин.

— Движда — на санскрите — это типа дважды рождённый, — пояснил доктор. — Древний язык, многие считают его праязыком всех индоевропейских народов. Слышали?

— Да, приходилось. Но я-то почему движда?

— Да вы не обижайтесь, — улыбнулся доктор, — вы же ещё вчера ступили — без сознания, без документов, без полиса... И если бы не Маша, то шансов выжить у вас вообще-то было мало. То есть сегодня у вас второй день рождения. При этом вы помните свою предыдущую жизнь. Такая сансара!

— Вы, наверное, доктор, из тех, кто верит во всю эту гималайскую теософию, — грустно улыбнулся Платонов.

— Отчего нет? — бодро ответил доктор, одновременно прилаживая на руку Константина тонометр. — Умер — снова родился, чем плохо?

— Бессмысленностью, — ответил Платонов, — какой смысл в череде перерождений, если не помнишь предыдущую жизнь? Как можно исправить ошибки прошлых жизней, если ты их попросту не знаешь? Бессмыслица какая-то! А представьте, дитя всё же рождается с памятью о прошлых жизнях? А? Его же раздавит от отвращения к миру людей в первый же день жизни! И смысл материнства исчезнет...

— Честно говоря, я как-то об этом не задумывался, — признался доктор.

— Да все мы мало задумываемся о смысле жизни... Вот когда прижмёт, как нас с Иваном Петровичем, так и задумываемся.

— А мне нравилось про смысл жизни, — подал голос Иван Петрович, — вырастил сына, построил дом, посадил дерево...

— Это, скорее, программа минимум. Этакое приземлённое понимание. Только не обижайтесь, — Платонов попытался повернуть голову в сторону соседа по палате.

— Ну, в высоких сферах мне некогда было летать, я поезда таскал. Но нынче некоторые и на это не способны: ни родить, ни построить, ни посадить... Садят нынче только в тюрьму! — обрадовался машинист найденной игре смыслов.

Доктор между тем измерил давление и у Ивана Петровича.

— Жалобы-предложения есть?

— Доктор, не отключайте моего коллегу, Виталия Степановича. Скоро приедут из областной газеты, — попросил Платонов.

— И на пост уже звонили, и мне, — сообщил доктор, — даже заплатить обещали, — он сделал паузу, — и Маша просила. Дело-то не в этом. Дело, как вы говорите, в смысле. Что проку перекачивать воздух, если...

— И всё же, — поторопился перебить Константин, — хоть какой-то шанс есть?

— Не знаю, — честно ответил врач уже на пороге и вышел в коридор.

На разговор Платонов потратил последние силы. Снова подступила тошнота, и глаза сами собой стали закрываться. Он уже готов был провалиться в обволакивающий сознание мягкий зовущий мрак, но Иван Петрович напомнил о своем присутствии:

— Слышь, Костя, — позвал он, — я тебе ещё хотел досказать. Про Машу. Ты только ей не говори. Ладно? Я, благодаря ей, надеюсь на неделю раньше отсюда выйти.

— Каким образом? — зовущий мрак пришлось усилием воли отогнать.

— А вот послушай. Тут некоторые смеются над ней, презирают. Мол, бывшая проститутка стала в церковь ходить. А многие, наоборот, очень уважают. Многим она помогла. Уж не знаю чем и как, но через эту палату многие прошли. Так вот, за кем Маша ухаживала, чуть ли не с того света возвращались. Даже врачи, когда у них какое-нибудь безвыходное положение, Машу зовут. Говорят, она в операционной держит голову больного в руках...

— В руках? Голову?

— Ну да. И всё проходит гладко даже в самых сложных случаях. Её Магдалиной-то Кутеев прозвал.

— Кто это?

— Да олигарх местный. Он ещё в перестроечные времена песчаные карьеры под себя подмял. Все думали — на фига карьеры? А он будто знал, что строить много будут. Короче — разбогател на этом. У него теперь несколько строительных фирм. Даже в Москве. Но живёт он чаще здесь. Дворец у него на окраине. Песчаным замком в народе называют. Так вот, когда Маша из Москвы вернулась, он хотел на ней жениться, несмотря на то, что за ней такая слава тянулась. Взбренило мужику — и всё тут! Во как! А она — ни в какую! Чего он только ей не предлагал. Вот с его легкой-не легкой руки Магдалиной и назвали.

— А ты знаешь, Иван Петрович, кто такая Магдалина?

— Ну... слышал... Там... с Иисусом Христом... вроде как...

— Евангелие не читал, — догадался Платонов.

— Да некогда, — отмахнулся машинист.

— Щас-то почему некогда? На пенсии. Самое время. Это ж не “Война и мир”.

— Ты чего сказать-то хочешь? Грамоте высшей мне уже поздно учиться, а душу я трудом спасал. Думаешь, — он ткнул пальцем в потолок, — там не прокатит?

— Не знаю, — честно ответил Константин.

— Так чего ты про Магдалину-то рассказать хотел?

— Вообще-то был в древней Иудее город Магдала. Вот почему ту Марию прозвали Магдалиной. Жалко, что нет сейчас под рукой репродукции картины Поленова “Кто без греха?”. Понятнее бы было... Хотя это больше в католической традиции увязывать с той грешницей Марию...

— Ты попроще можешь? Я вот про крашенные яйца чего-то помню вроде... — попросил Иван Петрович, которому приходилось уже морщить лоб от обилия информации, которой начал сыпать Платонов.

Константин собрал последние силы, чтобы создать хоть какую-то стройность мыслей и начал:

— Воскресший Иисус явился ей первой...

— Во как! Вот тебе и блудница, — нетерпеливо перебил Иван Петрович.

— В Библии нет точных указаний её грехов до встречи со Спасителем. Там уже додумывали, дорисовывали в преданиях... Ну, попытаюсь по порядку...

10

Константину приснился яркий и очень реалистичный сон. Лишенный документов, электронных карт, денег, он вынужден был слоняться по чужому городу в поисках пропитания и подаяния. То нанимался на рынке грузчиком к кавказцам, то просто стоял у магазина, протянув шляпу для милостыни. Во сне он прекрасно знал, что Вавилон лежит в коме и хранит тайну местонахождения его паспорта, денег, ключей от квартиры. При этом он испытывал во сне два противоречивых чувства: удивительное для такой ситуации состояние покоя и одновременно гнетущее чувство безысходности. Двери государственных контор, где он пытался восстановить свое имя, перед Константином брезгливо захлопывались, Марина пыталась завладеть его квартирой, не признавая в нем своего бывшего мужа, в редакции его не узнавали,

словно он был обезображен до неузнаваемости, и он снова вынужден был возвращаться в город, где начались их с Бабелем злоключения, постепенно смиряясь со своей новой участью. Сон был очень похож на современный российский сериал, созданный по системе “золушка наоборот”. Даже во сне прошло несколько суток, что для сновидений является большой редкостью. Ночами Платонов спал на вокзальных, выстроенных рядами стульях, сделанных ещё при царе Горохе из гнутой фанеры. Он даже читал вырезанные на них послания потомкам, любимым женщинам и просто пассажирам. Реальность происходящего подтверждалась ещё и тем, что во сне Платонов не только выписался из больницы, но даже прихрамывал на обе ноги. Точнее, ему приходилось их слегка подволакивать. Он явственно слышал шарканье подошв по асфальту. Накануне пробуждения он понял, что и кого так упорно искал в чужом городе. Но Маши нигде не было. Словно и не было никогда.

В очередной раз он заснул на вокзале, чтобы проснуться в больничной палате. Во сне ему мешал спать гудящий под окнами маневровый, который в больничной палате превратился в богатырский храп Ивана Петровича. Машинист недалеко уехал от своего тепловоза. Дальнейшее пребывание во сне пришлось вынужденно отменить.

— Иван Петрович, а Кутеев этот потом что, так и отстал от Марии? — спросил утром Платонов.

— А куда ему было деваться? Она уже к тому времени и огонь, и воду, и медные трубы прошла. А в девяносто девятом его на трассе подстрелили. Говорят, специально московские конкуренты приезжали.

— Убили?

— Да нет, ранили почти смертельно, она и выходила. А так-то бы Кутееву кранты. В городе так и шутили: чуть не поел Кутеев кутьи... Ему потом врачи так и сказали, кому он жизнью обязан. Зато теперь, кто про Машу плохо думает, вынуждены молчать, иначе будут иметь дело с Кутеевым. А он кого хошь на своих карьерах живьем зароет. Во как.

— А если думаешь о ней хорошо?

— Так думай на здоровье, — понятливо улыбнулся Иван Петрович, — но на это... — он сделал неприличный жест руками, — не рассчитывай. И не такие обламывались. Скала! Кутеев ей каждый месяц деньги переводит, а она их — то в детдом, то ещё куда, где кому плохо. Сечёшь?

— Секу. Хороший бы материал получился, — вспомнил о своей работе Платонов. — Бабель бы тут на все сто выложился.

— Кто?

— Да коллега мой, который в реанимации лежит. Он всякие аномалии любит.

— Чего? А... Ну так, если по-хорошему написать, может, и можно. Не знаю. Только никаких аномалий в ней нету. Глаза-то разуй. Людей она просто любит, а нынче людей любить — ой как тяжело! За что их нынче любить? У меня помощник был, помощник машиниста, я имею в виду, так он ещё в девяностые придумал поговорку — кодекс строителя капитализма: пить, жрать, срать и ближнего с любовью обобрать. А Маша... — Иван Петрович задумчиво вздохнул, — сам-то не знаю, только слышал, говорят, после того, что она вытерпела, можно весь мир возненавидеть. Я вот крестец сломал, а за две минуты весь свет выматерил.

— А я не успел, — признался Платонов, — свет погасили.

— Где свет погасили? — не понял сосед.

— Здесь, — Константин потрогал рукой голову.

— А...

Затем каждый думал о своем, пока в палату не пришла Маша. В этот раз она подошла со шприцами сначала к Ивану Петровичу, и Платонов, у которого после сотрясения хоть чуть-чуть стало проясняться в глазах, смог полюбоваться ею со стороны. Магдалина... Вспомнился какой-то зарубежный фильм, где рассказывалось о Марии Магдалине после вознесения. Там она жила в одном поселении с прокаженными и ухаживала за ними. “Сегодня у нас проказа другого рода”, — печально подумал Константин.

Для Платонова Маша принесла штатив и систему, и он понял, что ему

предстоит долго и нудно лежать под капельницей. С другой стороны, стиснутая гипсом нога и “карусель” в голове ничего другого и не подразумевали.

— Это ты сейчас с восхищением смотришь? — с настороженной улыбкой спросила Маша.

— С изучением, — ответил Константин и тут же поправился: — Пытаюсь постичь...

— Что?

— Ну... — не ожидал уточнения Платонов. — Внутренний мир, сочетание его с красотой, да просто понять человека. Профессия у меня такая. Я же журналиста, мне везде свой нос сунуть надо.

— Уже вроде сунул, — Маша закончила манипуляции с венами Платонова и собралась уходить.

— А ты откуда знаешь?

— Окна моей комнаты выходят на дом, где всё произошло.

— О, так ты все видела? А я думал, тут мистика!

— Я почти ничего не видела. Когда во двор вошли четверо, я краем глаза вас увидела. Подумала — очередная группа выпить пришла. Потом также между делом заметила, что по улице удаляются двое. Но одному куртка явно не по росту. Заподозрила неладное. Мы вместе с комендантом общежития туда пришли... Извини, у меня ещё больные. И если тебе что-нибудь уже успели наговорить про меня, — она посмотрела в сторону Ивана Петровича, — то мало ли что говорят...

— Дурак ты, Костя, — обиделся вслух Иван Петрович, — я же тебе говорю, она сразу все просекает. Не кичится она своим даром, и кто ты такой, чтоб она перед тобой раскрывалась? Меня вот только подставил.

— Извини, Иван Петрович, исправлюсь. — Константин вдруг хохотнул. — Думаешь, она тебе руки на копчик положит?

— Тьфу! — отмахнулся Иван Петрович. — Ты точно дурак или издеваешься! Можешь мне не верить, но соседка мне сказала, что даже комнатные цветы в её доме оживают. Понимаешь? Ей принесут, что завяло, а у неё оживает! Не веришь?

— Почему не верю? Верю, — стал серьёзнее Платонов. — Шучу я, не обижайся. Если честно, Иван Петрович, мне даже хочется верить, иначе в этом мире можно родиться и сразу сойти с ума.

— То-то... — пробурчал в потолок Константин.

II

К вечеру в палату шумно ввалились главред и Леночка Куравлева. Главред ещё ничего не успел сказать, как Лена уже начала причитать на манер плача Ярославны, но весьма бестолково. Звучало это примерно так: “кто же тебя, сизого сокола нашего, быстрого ястреба, стреножил?!” Платонов даже вынужден был посмотреть, не выросла ли у него по случаю третья, а то и четвёртая нога. Но Лена продолжала почти в рифму: “А Степаныча нашего, седого селезня, скомотожили!..”

— Лена, стоп! — скомандовал Максим Леонидович. — Я сейчас от твоего фольклора тоже в кому впаду! Здравствуй, Костя.

— Ну, не могу сказать, что здравствую, но вам желаю...

— Ладно-ладно, все будет нормально.

— Ну да, если не считать, что мы сегодня здесь числимся как бомжи.

— Это уже не проблема, — Максим Леонидович раскрыл свой кейс и достал оттуда документы, среди которых оказался и паспорт Платонова, и его электронные карты, страховые медицинские полисы и даже мобильный телефон Константина.

— О! Откуда?! — изумился Платонов.

— Из ящика моего стола. Старик Бабель, оказывается, попросил секретаря бросить мне в стол конверт со всей этой начинкой. На всякий случай.

— А мне трюндил о чистоте эксперимента, — грустно улыбнулся Константин.

— Во всём важна мера. Вы бы ещё мужчинами по вызову записались...

— А что, у Кости бы получилось, — вставила Леночка, отчего редактор посмотрел на неё с ироничным состраданием.

— Ну что, надо вас в областную перевозить, — поставил задачу Максим Леонидович. — Вот как быть с Бабелем? Насколько он транспортабелен? Я сейчас пойду к главному врачу, попытаюсь все выяснить...

— Максим Леонидович, — перебил Платонов, — вам, может, покажется мое предложение бредом контуженного, но, я считаю, надо все оставить так, как есть. Просто договориться, чтобы его не отключали от “и-вэ-эс”.

— Не понял?

— Н-ну... — неуверенно потянул Константин, — скажем так, тут есть возможность... нетрадиционных методов лечения.

Иван Петрович после его слов осуждающе крикнул на соседней койке.

— Бабушка нашепчет? — вскинул бровь Максим Леонидович.

— Я серьёзно, — ответил Платонов, — очень серьёзно.

— Ладно, — несколько растерялся редактор, — всё равно мне нужно к главному. А там посмотрим. Лена, выкладывай пока апельсины-мандарины-соки-моки-колбасы... Корми бомжа.

Леночка стала торопливо выкладывать из пакетов содержимое, но Платонов её остановил:

— Лен, не надо, лучше позови сюда Маг... — он осёкся, — Машу, сестру с поста. Позови-позови, — развеял он её минутную растерянность, — фрукты потом.

Лена вернулась через пару минут с Машей.

— Что-то нужно, Костя? — спросила Маша.

— Да, — ответил нерешительно Платонов, — знаешь, у меня такое чувство, что вестибулярный аппарат у меня совсем... съехал. Короче, голова кружится, сил больше нет. Ничего вроде не болит, а голова кружится так, что хочется зажмуриться и больше не открывать глаза. Ты же можешь мне помочь, — то ли спросил, то ли взялся утверждать.

— Не знаю, — ответила Маша. — Это не от меня зависит.

— А от кого?

— От тебя.

— Что я должен?

— Ну... — теперь уже Маша выглядела неуверенно... — Хотя бы... Для начала произнеси одну простую молитву. Господи, милостив буди мне грешному...

— Ой, а можно вот без этого?! Без всей этой никчемной символики! — неожиданно для себя взорвался Платонов, испытывая при этом непонятное самому раздражение.

— Нет, нельзя, — ответила Маша, — ладно, я пойду, извините, — и собралась было уходить.

Иван Петрович на соседней койке досадливо крикнул, что следовало растолковать как “дурак ты, парень”. И крикнул не зря, Константин быстро настроил себя по-другому.

— Постой, Маша... Хорошо... Я произнесу эту молитву. Ты же можешь мне помочь...

Маша остановилась. В палате повисла напряженная тишина. Даже грузный Иван Петрович, казалось, перестал дышать, а его шумные вдохи-выдохи, которые ещё минуту назад сотрясали окружающий воздух, словно растворились в зависшем молчании. Ничего не понимающая Лена в это время села на свободную кровать, та предательски скрипнула, но на это никто не обратил внимания. Платонов между тем нервно покусывал губы, как студент-первокурсник на экзамене. Перед тем как произнести нужные слова, Константин вдруг понял, что сейчас он будто бы наступает на собственную гордость, на огромный пласт сложившейся жизни, на какое-то давно устоявшееся понимание собственной правоты, которое есть в каждом человеке. До этого он даже не задумывался над этим. И всё же решение уже было принято. Константин набрал в лёгкие воздуха столько, словно собирался нырнуть на большую глубину. В сущности, так и получилось, только нырять предстояло не в воду, а вглубь себя.

— Господи... милостив... буди... мне... грешному... — слова отлетали, как отстрелянные гильзы.

И за то, в общем-то, небольшое время, пока он произносил пять слов мытаря, он вдруг увидел всю свою предыдущую жизнь. Причём не в линейно-ускоренном воспоминании, как, говорят, видят умирающие, не сумбурным набором каких-то эпизодов, а всю целиком — залпом — как единую картину, которая не имела протяжения во времени, а была единым, уже сложившимся сюжетом. И если ещё минуту назад ему казалось, что в душе все мирно и спокойно, что старые раны зажили, а неприглядные поступки затянулись паутиной прожитых дней, то сейчас на него накатила огромная волна стыда. Откуда-то из самых глубин сердца. Он вдруг увидел, как в детстве расстреливал из рогатки голубей, как они бьются в агонии после его точных попаданий, словно не понимая, отчего они больше не могут взлететь, а главное — не понимая источника совершенного в отношении них зла; как он берет из сумочки мамы трехрублевую купюру, чтобы потом хвастаться перед друзьями, что у него есть деньги, и долго её прятать в разных местах, невинно пожимая плечами на вопросы матери; он увидел, как в числе прочих студентов издевался над стареньким профессором в университете, у которого был дефект речи, но зато был необычайный заряд доброты, который студенты не могли ни принять, ни оценить из-за искусственно накачиваемого в их среде цинизма; увидел, как без труда совратил влюбленную в него сокурницу — даже не из страсти и похоти, а потому что точно знал, что она ему не откажет, а потом так же легко оттолкнул, даже не раздумывая, какие душевные страдания ей причиняет; вспомнил, как радовался, что его комиссуют, в то время как часть перебрасывают на Кавказ, и он вроде бы и не трус и ни при чём; увидел себя сразу после похорон отца в шумной компании друзей — у одного из них была свадьба... Много ещё чего нахлынуло с этой волной, так нахлынуло, что часть её выплеснулась через глаза, и по щекам буквально ручьями покатились слезы, которых он почему-то не стеснялся.

Леночка, увидев, что Платонов плачет, напряженно приподнялась с кровати, которая снова скрипнула.

— Костя... — только-то и смогла сказать она.

Иван Петрович тоже начал подавать признаки жизни характерным шумным дыханием. Маша села рядом Платоновым на табуретку и тихо сказала:

— Всё хорошо. Всё правильно. Теперь закрой глаза.

И Константин закрыл, опасаясь только одного — что сейчас начнёт громко и неудержимо рыдать. Огромный комок подкатил к горлу. Проглотить, протолкнуть его обратно было просто невозможно. И он вот-вот зарыдал бы, если бы не почувствовал на своем лбу прикосновение ладоней Марии. Они легли как раз на лоб и глаза, и ком в горле быстро и легко растворился, дышать стало легче. Он вдруг перестал чувствовать время, в первую очередь — время, а потом уже — боль, досаду, муки совести. Растаяли мелкие суетливые мысли, и что-то внутри замерло и остановилось. Наступившее ощущение представлялось ему растворением в бесконечности. Вот весь Константин Платонов рассыпался на молекулы и атомы, электроны, протоны, нейроны и разлетелся-разлился по огромной вселенной, сохраняя между тем чувство единого собственного “я”. И каждая из составляющих это “я” корпускул наполнялась состоянием покоя, которое хотелось длить и длить...

— Тебя когда крестили? — прозвучал откуда-то издалека, с далекой планеты Земля, где суетливые люди заняты какими-то никчемными пустыми проблемами, приятный и знакомый голос.

Пришлось ответить сквозь галактические скопления честно и безразлично:

— В детстве. Мама на всякий случай крестила...

— Костя! Так не бывает! — прозвучал уже совсем рядом и совсем о другом голос Леночки, отчего пришлось возвращаться в пертый воздух палаты, заполнять его собой, материализоваться по частичке — по атому. Вталкивать, к примеру, сломанную ногу в гипсе, дыхание в легкие, сознание в голову, которая стала ощущать запахи, звуки. Между тем ощущать ничего, кроме покоя, не хотелось. Потому, не открывая глаз, Константин переспросил у Лены:

— Чего не бывает?

— Синяки исчезли. Были — и нет!

Голова больше не болела. Её словно почистили внутри. Каждый сосуд, каждый капилляр, каждую клетку. Думалось легко и, если можно так выразиться в отношении мыслительного процесса — свежо. Точно ещё и проветрили утренним сквознячком. Платонов, не торопясь, осмотрелся. Иван Петрович одобрительно, но как-то затаенно улыбался, Лена сидела в изумлении с открытым ртом, Маша ушла в себя, было заметно, что она устала.

— Это чудо. Точно чудо, — констатировал Платонов.

— Что? — встрепенулась Маша. — Не надо так говорить. Не надо...

— А Бабелю ты можешь помочь?

— Его здесь нет, — тихо ответила Маша.

— В смысле?

— Н-ну... как тебе объяснить. Тело здесь, а самого его нет.

— И... где он?

— Не знаю. Я не экстрасенс, ни провидица, ни ведьма, ни гадалка... Я просто хотела, чтобы тебе стало легче.

— А Бабелю не хочешь...

— Его здесь нет, — твёрдо ответила Маша и поднялась. — Мне пора. Сейчас ужин разносить будут.

Платонов остановил её вопросом в дверях.

— Маш, а если б я не попросил, ты бы этого не сделала?

— Я уже делала это... Там... в доме, когда вы лежали. Пока ехала машина...

— Ты ведь не просто так стала смотреть в окно?

— Я почувствовала, что кому-то рядом плохо. Отдыхай, дальше будет лучше. Завтра принесут костыли, можно будет выходить в парк.

— Нас хотят увезти. В областную больницу.

— Ты же сам звонил. Звал.

— Я останусь. Что будет с Бабелем?

— На всё воля Божья... Костя, — твёрдо и уже с холодком в голосе сказала Маша, — я не совершаю чудес.

Дверь за ней закрылась.

— То-то, — понимающе кивнул Иван Петрович.

— Ни фиги себе — не совершает, — смогла с помощью этой фразы закрыть рот Леночка.

В палату вернулся озадаченный главред.

— Бабеля так просто забрать нельзя. Надо реанимобиль. И — рискованно. А тебя через пару дней можем вывезти. Может, и для Степаньча чего-нибудь за это время придумаем, — сказал он. — Ты вроде как изменился, посвежел, пока меня не было, — наконец заметил Максим Леонидович.

12

Костыли достались Константину старые и потерянные настолько, что, казалось, выходил до него с их помощью на больничные тропы целый полк калек. Лера, выдавая их Константину, испытывала явное смущение, словно она была виновата в больничной нищете. Но Платонов обрадовался любой возможности передвигаться. Поднявшись, он первым делом с ненавистью посмотрел на судно под кроватью. Иван Петрович завистливо и одобрительно крикнул, ему полагалось лежать на твёрдом щите без малейших попыток подняться на ноги.

— Ну не просить же Машу подержаться за мою задницу... — пробурчал он.

Ходить с помощью костылей, на не совсем здоровой ноге надо было ещё припробоваться, но Константин размашисто поскокал в коридор, чтобы найти реанимацию. Это оказался отдельный бокс в торце здания, на пороге которого сидела грустная медсестра, пролистывая без явного интереса потерянный глянецовый журнал.

— Куда? — остановила она Платонова усталым пренебрежительным взглядом.
— Товарищ у меня там. Поглядеть, проведать.
— Это который к аппарату подключен?
— Да.
— Он не поймёт, что его проведывают. Да и нельзя туда. Нельзя.
— Да я только глянуть: дышит или нет?
— Аппарат за него дышит.

Константин перегруппировал мысли и мимику, изобразил на лице легкое восхищение, в голос подлил уверенной лести:

— Девушка, вы такая... Такая обаятельная. Вам не идет эта напускная суровость. Как вас зовут?

— Света меня зовут. Только не надо делать вид, что если я вас пушу, вы на обратном пути сделаете мне предложение.

Она сказала это так непринужденно, что Платонов представил себе, как она регулярно на этом посту выходит замуж, и засмеялся. Света, хоть и выдавливала на лицо служебную серьёзность, тоже прыснула.

— Ладно, только быстро. Первая дверь направо, — разрешила она.

Бабель лежал на стандартной каталке, опутанный проводами и капельницами. Первое, что бросилось в глаза, мертвенная, восковая почти бледность на лбу и щеках и точно растущая прямо на глазах серо-седая щетина. Именно растущая сама по себе... Независимо от Виталия Степановича. Потому что Бабеля здесь не было, как и говорила Маша. В кафельном кубе лежало только тело, и это ощущалось на каком-то метафизическом уровне. А может быть, если бы Маша об этом не сказала, никто об этом бы и не задумался?

— Спасибо, Света, — поблагодарил Платонов, ковыляя обратно.

— Не во что, — буркнула в ответ медсестра, употребив именно предлог “во” и не отрывая взгляда от журнала, — надумаешь жениться — милости просим.

Больничный парк, если так можно назвать огороженную палисадником площадь, утыканную ущербного вида тополями, клёнами, липами и ёлочками, как будто намеренно выведенными селекционерами для больничного двора, всё же больше радовал глаз, нежели “интерьеры” районного стационара. “Очей очарованье” хоть и золотилось ещё чуть тёплыми солнечными лучами, но под ногами уже поскрипывало тонкой корочкой промерзающей по ночам земли. “Что же такого прекрасного в осени, что щемит сердце и сквозит в душе? — задавался вопросом Платонов и несмело отвечал сам себе: — Ожидание покоя...” Странно было представить себе, что жителю экватора такое чувство может быть незнакомо. Осенняя хандра похожа на тоску об утраченном рае. Там, где вечное лето, нельзя придумать сказку о спящей красавице, нельзя воскликнуть “мороз и солнце!” Потому Промыслом Божиим Пушкин был рожден в России. Именно осени он признался в любви: “Из всех времён я рад лишь ей одной”.

*— И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод...*

Извлекая из своей филологически устроенной памяти лирику Пушкина, Константин даже не заметил, что опирается только на один костыль, а вторым, точно дирижер, размахивает в воздухе. Он смутился и оглянулся на больничные окна: не видел ли кто его поэтического, но со стороны безумного порыва.

— Вот почему я не Пушкин, — сказал он сам себе с грустью, — Пушкин кричал бы стихи без оглядки и махал бы обоими костылями, если бы это ему было нужно...

Вроде сказал сквозь зубы да под ноги, но все же был услышан.

— А осень действительно хороша...

Платонов поднял голову на голос и увидел своего доктора, который вышел на крыльцо покурить.

— Простите, если помешал, я в тамбуре сначала стоял, потом слышу, кто-то декламирует. Дай, думаю, выйду. Между прочим, отличная терапия. Природа и стихи. Извините, если помешал.

— Да нет, ничего, — смутился Платонов.

Он допрыгал до крыльца, рассмотрел на халате доктора табличку с именем: Васнецов Андрей Викторович.

— Одни великие люди вокруг, — задумался вслух Константин.

— Что? — не понял доктор.

— Я — Платонов, как писатель, в реанимации — Бабель, революционер да и писатель, вы — Васнецов, как художник, Мария — Магдалина...

— Ну да, ну да, — торопливо согласился Андрей Викторович, не собираясь, видимо, вдаваться в подробности хода мыслей пациента. — К вам тут милиция ещё в первый день приходила. Ну, мы обязаны сообщать. Я им обещал позвонить, когда вам полегче будет. Я позвоню... Вы только Машу не впутывайте. Нашла она вас, нашла, и хорошо.

— Хорошо... Скажите, Андрей Викторович, а Маша... — Платонов замаялся. — Ну, как думает официальная медицина?.. О её способностях?..

— Официальная медицина о её способностях не думает, — грустно улыбнулся врач, — официальная медицина думает о том, как её выжить, как остаться медициной, хлебушка на что купить.

— Ну да, ну да, — точно передразнил Андрея Викторовича Платонов. — Жаль, Бабелью она не хочет помочь. Правда, если тот даже пришёл бы в себя, всё равно бы не поверил.

— Материалист? — с ходу определил Васнецов.

— Хуже. Прагматик, верящий в жизнь на других планетах.

— Ясно, — доктор выбросил окурок в специальное ведро и собрался было уходить, но потом вдруг остановился и добавил: — Нет такого человека, которому Маша не хотела бы помочь. Кто знает, может и сейчас в храме за вашего Бабеля молится.

— Кто назвал её Магдалиной?

— Да кто ж его знает? Говорят, Кутеев.

— А вы, правда, зовёте её на помощь во время сложных операций? — спросил уже в спину Платонов.

— Правда, и не только я, тут то оборудование откажет, то банальных перевязочных не хватает, то обезболивающего... Я б кого хошь позвал... — отвечал, бурча, доктор.

Константин ещё постоял некоторое время в коридоре и заковылял в палату, где его радостно встретил заскучавший Иван Петрович.

— Ты чё, в Москву на трёх ногах ходил? А твоя “мобила” тут всякие песни горланит. Во как!

Константин взял телефон в руки. В пропущенных значилось “Марина”, и он не стал перезванивать.

13

Пришёл милиционер в засаленной, как вся окружающая действительность, фуражке. И китель в катышках, словно обтёрся от служебного рвения, и даже капитанские погоны гнутые и блеклые. Вытер жухлым платком пот с зальсины, вздохнул, достал лист протокольный:

— Капитан Никитин. Рассказывайте...

“Пьёт. Достало всё. Дел одновременно дюжина или больше — и отчётов по каждому — миллион. Зарплата — два вызова проститутки. Дома жена, которая никогда не увидит его генералом и даже полковником... А парень, хоть звёзд с неба не хватал, но шёл работать за правду, а оказалось, что и тут давно уже всё продано”... Константин сочувственно вздохнул и начал:

— Платонов Константин Игоревич. Журналист. Да знаю я, что вы нас любите чуть больше, чем мы вас, но вот среди вас есть же честные опера?

— Есть, — скинул бровь капитан Никитин, стараясь понять, чего сейчас добивается Платонов, кто у кого “интервью” берёт.

— И у нас приличные люди бывают. Все правды хотят...

Платонов рассказал их с Бабелем историю витиевато, с лирическим отступлением о проблеме бомжевания и человеческого достоинства, с сочувствием наблюдая, как выступают на лбу у капитана Никитина мелкие капельки пота — результат усердия перевода на ментовский язык и параллельного от таких запредельных усилий абстинентного синдрома. Озвученный Никитиным обратный перевод состоял из нескольких косноязычных предложений, под которыми Платонов вывел: “С моих слов записано верно, мною прочитано и даже понято”, отчего капитан обиженно поморщился:

— Это ж документ!

— Фигня, я ж контуженный, а так — точно написано, что не только прочел, но и адекватно воспринял.

— Узнать их сможете?

— Даже ночью и в чачване.

— В чём?

— Гюльчатай, открой личико, помнишь?

— Восток — дело тонкое, — подхватил Никитин и даже улыбнулся. — Хорошо. Может, фоторобот сделаем. Друг-то твой — мумия. Я заходил.

— Я тоже. Его надо оживить. Он — раритет. Я Машу просил, — закинул свою удочку за новыми знаниями Платонов.

— Маша — не волшебник... — покачал головой Никитин. — У меня когда младший заболел, чё-то там с клапанами, оперировать надо было... В Москву или ещё куда. Я к ней пришёл. Сначала крестили малюго, она восприимницей была. А потом Маша несколько ночей подряд молилась. Я — с ней. Жена — тоже. Ночь напролет. Мы с женой попадаем, вырубимся, очнёмся, а она стоит на коленях и шепчет. Операции не потребовалось. Так что никакого волшебства. Она просит так, что, где хочешь, услышат.

— Местночтимая святая, получается, — задумчиво определил Константин.

— Не знаю, но я за неё любого порву, — почти воинственно предупредил капитан.

— Мне тоже помогла, — вроде как успокоил Платонов. — А что с ней до этого было?

— Врагу не пожелаешь, — коротко ответил Никитин и поднялся, чтобы уйти. Добавил уже с порога: — Ты это, с газетным интересом к ней не лезь.

— Я — с человеческим, — ответил Платонов.

Капитан Никитин ещё помялся в дверях, вероятно осмысливая, что можно понимать под “человеческим интересом”, нерешительно пожевал губы и, не найдя ничего криминального, махнул на прощанье:

— Бывай, зайду ещё.

14

Ночью Константин пришёл на сестринский пост, но Машу, которая должна была там дежурить, не нашёл. Помялся у стойки, глянул в раскрытую на столе книгу под настольной лампой. Шёпотом начал читать:

— Никто не может сказать: “Я нищ, и мне не из чего подавать милостыню”, ибо если ты не можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшие дары свои в сокровищницу, то дай две лепты, подобно той убогой вдове, и Бог примет это от тебя лучше, чем дары оных богатых. Если и того не имеешь, имеешь силу и можешь служением оказать немощному брату. Не можешь и того? Можешь словом утешить брата своего. Итак, окажи ему милосердие словом... — Константин замер над текстом и почему-то сказал в тоне Ивана Петровича: — Во как! Степанычу бы почитать... — посмотрел обложку.

“Душеполезные поучения Аввы Дорофея”. Он вдруг то ли почувствовал, то ли просто понял, где сейчас искать Марию, и стремительно заковылял по коридору. На посту у отделения реанимации никого в этот раз не было. Константин, изо всех сил стараясь не громыхать древними костылями, протиснулся, чуть приоткрыв дверь, и оказался в палате, где шумел аппарат искусственной вентиляции лёгких, имитируя жизнь Бабеля. Рядом с больничной каталкой, на которой лежало тело Виталия Степановича, стояла на коленях Маша. Она тихо молилась перед маленьким образом Богородицы, поставленным на тумбочку.

— Все упование на Тя возлагаем, Мати Божия, и в скорбех и болезнех ко святой иконе Твоей с благоговением и верою притекаем. Чающе от Нея скоро утешение и исцеление получитьи. О, Пресвятая Царице Богородице, воззри милостивно на нас смиренных рабов твоих и ускори исполнити вся яже на пользу нам в сей жизни и в будущей. Да прославляя Твое благоутробие воспеваям Творцу Богу: Аллилуиа.

Константин чувствовал, что и он должен встать на колени рядом, но разбитые ноги этого не позволяли, и он просто висел на костылях за её спиной, не смея шелохнуться, хотя понимал: Мария знает, что он здесь. Присутствует. Платонов не ведал об акафистах, не представлял даже, сколько она их прочитала, он просто потерял чувство времени, в конце концов — ему показалось, что он понимает церковно-славянский язык, хотя и действительно многое понимал уже, и как-то незаметно для себя влился в мерное и плавное течение речи девушки. У него не возникло даже отдалённого чувства сопричастности к чуду, к таинству, напротив, он увидел тяжёлую молитвенную работу, которая многим современным людям со стороны могла показаться ничёмной и даже глупой. Платонову так не казалось, он искренне хотел помочь Бабелю. Между тем костыли уже впились в подмышки иступлённой болью, и условно здоровая нога превратилась в пылающий стержень, который вкрутили по самое сердце. Платонов вынужден был признаться себе, что эта странная девушка сильнее него, намного сильнее. Иногда он бросал взгляд на безжизненное лицо Виталия Степановича, невольно сравнивая его с теми, что доводилось видеть уже в гробах, и получалось, что немёртвым его делала лишь чалма бинтов на макушке.

И вдруг Платонову показалось, что веки Бабеля слегка подёргиваются. Он подался всем телом вперёд, отчего чуть было не потерял хлипкое равновесие, едва удержался и хриплым шёпотом крикнул:

— У него могут дёргаться веки?!

Маша вздрогнула, не поворачиваясь к нему лицом, поднялась с колен и наклонилась к лицу Бабеля.

— Антон Михалыч! Сюда! — крикнула она.

Теперь уже Платонов видел, как явно подрагивают пальцы Бабеля на ворсистой поверхности одеяла.

— Агония? — испугался он.

— Антон Михалыч! — снова позвала Маша, и в палату буквально ввалился заспанный врач.

Крупный, небритый, в распахнутом халате, он больше напоминал похмельного братка, пришедшего проведать раненого друга. Да и вёл себя соответственно.

— Какого?.. — вероятно, Антон Михалыч хотел сказать “чёрта”, “лешего”, “хрена”, торопливо перебирая в просыпающемся сознании подходящие эпитеты, но при Маше так и не решился ни на один из них, завершив нейтрально, но по тону не менее возмущённо: — Какого такого вы тут делаете?! Маша, сколько раз тебе говорил! А этот ущербный воин откуда?! Брысь! Брысь отсюда в палату!

— Я могу помочь, — несмело предложила Маша, и только сейчас Платонов заметил, как устало она выглядит.

Заметил это и доктор.

— Ох, Маша-Маша, — ухмыльнулся он, — радость наша, дуй за Таней, она в ординаторской подушку мнёт. Давай! Это ж терминальная, он, может, подёргается и обратно... Ну! У тебя-то арефлексия почему?! Слышь, а ты-то

двигай гипсом, тут развернуться негде, — напомнил он Платонову о его неуместности.

— Что значит — терминальная? — успел спросить Константин у Маши уже в коридоре.

Маша посмотрела на него удивленно, пытаясь сообразить, чего он от неё хочет.

— Терминальная? Последняя, самая глубокая стадия комы, в данном случае результат черепно-мозговой травмы, — как на экзамене выпалила и побежала в ординаторскую.

— Он придёт в себя? — спросил Платонов вслед, но она уже не ответила.

Константин вернулся на пост, примостился на потёртом диванчике рядом и настроился бессмысленно и безнадежно ждать. Маша, впрочем, появилась минут через двадцать. Теперь утомление проступало в каждом движении девушки, глаза казались полуприкрытыми.

— Что там? — Платонов и сам клевал носом.

— Работают. Иди спать.

— Скажи, — попросил после недолгой паузы Константин, — это ты сделала?

— Я ничего не делала, — вдруг твёрдо ответила Маша, — Бог всё решает.

— Всё?! — Платонов вдруг почувствовал в себе неожиданный, необъяснимый всплеск раздражения. — А где был твой Бог, когда нас обрезком трубы калечили?!

Маша посмотрела на него с сожалением, даже — жалостью, отчего Константин ещё больше занервничал.

— Бог тебя отправил сюда? — спросила она. — Бог, по-твоему, сунул кому-то в руку обрезок трубы и действовал этой рукой? Или у этой руки свои мозги были? Своя воля — делать или не делать? У тебя дети есть?

— Нет, — не ожидал такого вопроса Константин. — Это при чём?

— Объяснять было бы проще.

— Ты попробуй. Может, я не совсем debil.

— Да всё элементарно: скажем так, у тебя несколько детей, ты учишь их добру, любви, взаимовыручке, даёшь им всё необходимое, а они выходят на улицу и учатся совсем другому. У них есть всё, но им этого мало. И вот один из них хватает палку и бьёт другого по голове.

— Понимаю, куда ты клонишь, — почти злорадно схватился за нить мысли Платонов, — всё равно я виноват. Значит, не так воспитывал.

— Я не об этом, — в голосе Маши скользнуло разочарование, точно она не могла растолковать “дважды два”, — тот, который ударил другого по голове, остаётся твоим сыном?

— Ну... Биологически — да. А духовно... получается, он сам выбрал такой путь.

— То-то...

— Нет, в твоей теории есть слабое место! — обрадовался найденному в мировой литературе решению Константин. — Можно ведь, как Тарас Бульба: “я тебя породил, я тебя и убью”... А?!

— Можно, если ты — Тарас Бульба. То есть человек, к тому же — воин, а если главная твоя составляющая — Любовь? Любовь, которую не осилить человеческому сознанию. Ту Любовь, которая после того, как её пригвоздили к Кресту, кричит: прости им, ибо не знают, что делают...

— Н-ну... — растерялся Платонов. — На такую любовь только Христос способен.

— Тебе что-то или кто-то мешает?

— Теоретически нет. Н-но...

— Вот с этих “но” начинается поведение твоего сына, и знаешь, кто отец этих “но”?

— Мда... Тварь я дрожащая или право имею... — процитировал Достоевского Константин. — Ты мне сейчас что, лекцию читаешь? — улыбнулся навстречу усталому взгляду Маши, раздражение вдруг отступило, и он почувствовал себя неловко, даже вину какую-то перед Машей ощутил.

— Ты спросил, я ответила.

— Я так думаю, — попытался примирительно заключить Платонов, — ты ударяешь, ударяешь, но в конце концов всегда найдётся кто-то или что-то, которое ударит тебя. Если речь идёт о сыне... Я... Ну, если я отец... Мне жалко и того, которого ударили, и того... который ударил... Он тоже мой сын. Даже после того, как он ударил, у него остаётся выбор...

— Ближе. Теплее, — вздохнула Маша.

— Я помню: в детстве я очень обидел отца. Сильно обидел. Знаешь, он просто со мной не разговаривал. Если я просил помощи, не отказывал, помогал, но молча. Сколько мне тогда было? Лет шесть-семь? Он не разговаривал со мной дня два... Может, три. А мне казалось, целую вечность. Потом я вдруг заболел. Отит. Знаешь, в ушах так стреляло, я спать не мог, плакал. И он ночи напролёт носил меня на руках, убаюкивал, а утром шёл на работу. Мама оставалась со мной. А мне тогда хотелось, чтобы оставался отец. Во-первых, я понял, что он простил меня, во-вторых, от него исходила какая-то сила, уверенность, что всё будет хорошо. А я воспользовался тем, что я болен, и в первую же ночь, когда боль чуть улеглась, спросил у него: “Ты больше на меня не злишься?”. А он ответил: “Я не могу долго на тебя обижаться, а злиться и вовсе не могу”.

Воспоминания комком подкатили к горлу, и Платонов умолк. В такие мгновения человек может думать о многом одновременно, но в действительности думает о главном. Так прорывает плотину, избыток чувств выплескивается в зеркало души — глаза, хочется плакать. Иногда слёзы просто невозможно сдерживать, да и не нужно. Константин сдержал. Внешне это показалось бы нелепо, взял вдруг — заплакал. И Константин вместо этого вытолкнул на лицо не менее неуместную улыбку.

Между тем он заметил, что Маша испытывает утомление, и каждое слово, каждая мысль даются ей с огромным трудом.

— Я не богослов, — зачем-то начала оправдываться она, — говорю, как чувствую.

— Я понял. Тебе надо отдохнуть. Давай я посижу вместо тебя, а ты пойдёшь отдохнуть в ординаторскую. Если кто позвонит, я разбужу, мне не грех и днём выспаться.

— Нельзя. Во-первых, там спит врач, и единственный диван уже занят, во-вторых, через час многим делать инъекции.

— Ставить уколы.

— Что?

— Мне казалось, так говорить проще: ставить уколы.

— Профессиональное...

— И всё-таки Бабеля разбудила ты.

— Я только просила об этом. Знаешь, Костя, я вижу: тебе очень хочется чуда. Выйди на улицу, посмотри на небо — чудо там.

— Маш... — Константин на мгновение замялся: — Ты очень красивая. Очень.

— Мне это не помогло. Наоборот.

— Ну, если ты такая верующая, должна понимать, что это своего рода дар Божий.

— Испытание даром ещё выдержать надо.

— А ты?

— Иди спать, Костя, иди, пожалуйста, ты даже не понимаешь, что делаешь мне больно.

— Извини, прости, — Платонов, как мог поспешно, взгромоздился на костыли и двинулся в палату.

Остановившись на пороге, он оглянулся. Маша уронила голову на руки и уже, похоже, спала, но рядом на страже стоял будильник. А из палаты рвался в коридор громоподобный храп Ивана Петровича, которого минутой раньше Константин почему-то не замечал.

Несколько дней Платонов безнадежно нарезал круги по больничным коридорам и парку. Маша почему-то не вышла на следующее дежурство, вокруг Бабеля что-то творилось, но от его вопросов отмахивались, отвечали заготовкой: “Делаем всё, что нужно”. Как обещал, явился с фруктами-продуктами Максим Леонидович. Сходил к главному, принёс весть: Степаных выходит из комы, но процесс этот не одной минуты. Появились рефлексy, может сам глотать воду, а если бы утром не пришёл в себя, то “и-вэ-эл” отключили бы, потому как днём привезли мужика после ДТП. “Интересно, Маша знала об этом в ту ночь?” — задавался вопросом Константин, но самой Маши не было. Один раз удалось постоять-покурить на крыльце с Андреем Викторовичем, которому Платонов рассказал о ночной молитве. Тот отнёсся к рассказу спокойно, почти индифферентно: “всему своё время, очнулся и хорошо”. Стоило вернуться в палату, как у Платонова начинал выпытывать новости прикованный к металлическому щиту Иван Петрович. Причём делал он это с настойчивостью гестаповца, и если новостей не было — приходилось их придумывать. Машу Платонов встретил уже через неделю в больничном парке. В бежевом плащике, старомодной косынке и каких-то бесформенных сапогах-мокроступах она напомнила ему мать, которая одевалась точно так же в семидесятые годы прошлого века и, опаздывая на работу, постоянно поправляла на бегу выбивающуюся из-под косынки прядь волос. В русской литературе эти пряди из-под косынки у кого только не выбивались, да так, что стали штампом, а с другой стороны, какой-то присущей русским женщинам чертой. Не пристало им просто так бегать, надо — по ходу — и пряди заправлять...

— Маша, ты где так долго была? — почти с упреком спросил Константин.

— Болела.

— Я думал, такие, как ты, не болеют.

— Болеют, ещё хуже болеют, — улыбнулась она.

— Правда?

— Правда.

— А Бабеля скоро к нам переведут.

— Я знаю.

Нужно было спросить её ещё о чём-то, чтоб продлить возможность постоять рядом, и Платонов кивнул на небольшое одноэтажное здание в углу двора с облупившимися стенами и вечно тёмными окнами.

— Там что — склад?

— Нет, там морг, — переменялась в лице Маша.

— Он даже издали страшный, — признал Константин.

— Обычная мертвецкая.

— Там кто-нибудь работает?

— Санитар.

— Врагу не пожелаешь.

— Кто-то должен.

— Наверное, платят много.

— Совсем нет. Больше родственники приносят.

— А ну да... Харон.

— Кто?

— Был такой старик в Древней Греции. Перевозил души умерших через реку Стикс в царство мёртвых. В Аид. Мёртвым клали на глаза медные монетки. Обол, по-моему, они назывались. Это был его заработок. Тех, у кого нет денег, он отталкивал веслом. А перевозил только тех, прах которых обрёл покой в земле.

— Не знала.

— Ничего страшного. Мифология. А ещё Харон — это первый спутник Плутона.

— Ты много знаешь?

— Много и ни к чему, — улыбнулся Платонов. — Так что у вас там свой Харон.

— Наш не старый. Хотя его и не видит почти никто. Только когда зарплату выдают. Пьёт он незаметно, но пьёт каждый день.

— Я бы тоже там пил.

— Ты там, где ты есть, пойду я...

— Работать?

— Завтра выхожу.

И всё. Можно продолжать бессмысленно жить.

Платонов без особой цели поковылял в угол больничного двора — к зданию морга. Может, ещё и потому, что Бабель чудом избежал последнего посещения этого угрюмого и по всему виду больного дома. Даже серый шифер на его крыше был особенно серым и битым, а выцветшая, окрашенная сто лет назад в ядовито-жёлтый цвет штукатурка покрылась паутиной трещин. Но самыми жуткими были ничем не закрашенные, но в то же время непроницаемо тёмные окна. Будто структура стекла поменялась на атомарном уровне. Хотя, может, так и есть. Вот тебе и материя первична! Интересно, что возразил бы на такое умозаключение Бабель? В принципе, можно предположить: дорогой Константин Игоревич, вы видите в этих окнах то, что хотите видеть, а не то, что есть на самом деле. Мда, Виталий Степанович, продолжил в себе спор Платонов, можно только порадоваться, что мы смотрим в эти окна со стороны улицы. Неизвестно, есть ли возможность смотреть в них с другой стороны.

16

— Степаныч, я точно знаю, она тебя вымолила, — Платонов и Бабель перешли “на ты” в экстремальных условиях.

Малоподвижный ещё Виталий Степанович отреагировал только глазами, посмотрел на молодого коллегу скептически убийственно — вплоть до интеллектуального унижения.

— Ну, другого я от тебя и не ожидал, но я точно знаю — это она тебя вымолила, — остался при своём Платонов.

— Костя, я был там, там нет ни хрена, кроме темноты. Полное небытие. Понял?

— А с чего ты взял, Степаныч, что тебе должны были что-нибудь ТАМ, — выстрелил это слово Константин, — показать? Или ты думаешь, что как заслуженный журналист и заслуженный работник российской культуры имеешь право на информацию там? Может, тебе, кроме тёмной материи, ничего и не положено.

— Пошёл ты на хрен, Костя, — в этот раз отчётливо, хоть и хрипло сказал Бабель.

Платонов сидел рядом с его кроватью на покосившемся табурете, за его спиной сопел, желая вклиниться в спор коллег, машинист-пенсионер, но пока не знал, куда и что именно надо вставить.

— Вот это по-нашему, — даже обрадовался Константин, — уж если ты ругаться начал, чего от тебя, приторно-вежливого, не дождёшься, значит, не совсем уверен в своей правоте. А главное — выздоравливаешь.

— Пошёл ты на хрен, Костя, — во второй раз повторил Бабель и даже закашлялся от усилий.

— На какой из двух? — давил на иронию Платонов.

— Какой тебе больше нравится... И, мне кажется, мой юный друг, ты просто влюбился. Магдалину он, понимаешь, нашёл. Ты мне тут ещё “Код да Винчи” начни вслух читать.

— Да недавинченный этот код, — поиграл словами Платонов. — Время тратить — воздух месить. Ты присмотришься к ней, Степаныч, может, увидишь чего-нибудь, почувствуешь вкус, кроме как опресноков демократии.

— Слышь, Степаныч, — подал-таки голос Иван Петрович, — мы с тобой одного почти возраста, во как... Так я в эту, как её, Костя?...

— Метафизику.

— Ага, так я в эту метафизику ещё десять лет назад не поверил бы. Сам понимаешь: Ленин, партия, комсомол... Но про Машу — всё правда, вот те

крест! — И в подтверждение сказанного перекрестился, ойкнув от неловкого движения.

— Доказательство на уровне “мамой клянусь”, — ухмыльнулся Бабель. Иван Петрович иронии не понял, но на всякий случай обиделся.

— Нашли тут местнотчимую святую, — добавил Виталий Степанович.

Тут уж обиделся Платонов:

— Знаешь, Степаныч, думай, что хочешь, но то, что она стояла ночь на коленях из-за тебя — я свидетель.

— А я не просил!

— И шевелиться ты именно в этот момент начал!

— Совпадение!

— Ну-ну...

— Гну.

— Да брось ты его, Костя! — даже попытался приподняться Иван Петрович. — Чего ты от него хочешь? Чтобы он Машу поблагодарил?

— Я просто объяснить ему хочу!

— Объяснить то, чего сам не ведаешь! — огрызнулся Бабель. — И вот ещё что: не вздумай в своём новом репортаже из районной больницы описывать всю эту галиматью! Не за этим ехали.

— Да я вообще ничего не собирался описывать, — как-то вдруг сник Платонов, как будто ему напомнили о чём-то очень неприятном.

— Вот и славненько.

— Вот ты, Виталий Степанович, вроде человек умный, — не унимался Иван Петрович, но был убит пронзительным взглядом из-под бинтов, после чего закончил фразу без изыска, — а всё-таки дурак, во как!

— Во как, — передразнил Бабель. — Газета “Гудок” на стороне религиозного мракобесия.

— Чего? Хорошая газета. Я двадцать лет подписывал. А вашу областную мне, как пенсионеру, бесплатно носят, чтобы я, старый дурак, знал, как нынешняя власть о мне, трудовом человеке, заботится и днём и ночью. А вы, стало быть, поддували её.

— Ладно, — решил уже для себя одного Константин, — пошёл я от вас, ребята, подышу пойду, воздух морозный стал, до мозга пробирает, — и подхватил костыли.

— Эх, хорошо тебе, — вздохнул Иван Петрович, — хоть бы телевизор в палату поставили. Я уже каждую трещинку по миллиметру на потолке изучил, каждое пятнышко. Газеты, что жена принесла, прочитал уже. Ой, тошно-о-о...

— Да уж, — согласился с этим Бабель.

Платонов тем временем уже вышел в коридор. Дежурила в этот день Лера, и говорить ему больше было не с кем, да и не о чем. Он не обиделся на Бабеля, не обиделся ещё и потому, что не мог себе представить, чтобы на Степаныча обиделась Маша. Иногда надо уйти от кого-то или от чего-то, чтобы попытаться найти путь к самому себе. Платонов этот путь ещё не видел, скорее — чувствовал, нащупывал, как дно под водой.

Больничный двор встретил унылой осенней серостью, которая в России имеет свойство усиливаться за счёт обилия безрадостных пейзажей и застроек. Серость подчёркивается тёмными намоченными стенами домов деревянных и облупленной штукатуркой домов панельных, разбитыми асфальтовыми и размытыми грунтовыми дорогами, а главное — царапающим макушку этого пейзажа грустными тучами небом. Птицу в таком небе плющит, да и птица — скорее всего — ворона. Долетит до столба-забора, сядет и озвучит всё, что думает об окружающем, и звук этот вовсе не “кар” (это в Англии может быть “кар”), а — “хмарь”. Хмарь, хмурь, хандра — и надписи на заборах на эту же букву. Стоит предаться созерцанию, и весь ма быстро начинаешь принадлежать этому сюжету: кажется, жизнь уже безвозвратно прошла, грядущий день будет таким же или ещё хуже, а нынешний вообще может стать последним. И такая от всего этого исходит безнадега, что “Последний день Помпеи” кажется оптимистической картиной хотя бы за счёт остановленной в ней динамики.

И тут это вселенское уныние начинает вяло, но настойчиво моросить, и уйти никуда невозможно — только в себя. Бабель однажды разродился по

этому поводу статьёй, суть которой вкратце можно было свести к единственной мысли: Россия шла к морям изнутри себя, вылезая именно из огромных сугробов и непроходимой грязи внутренних территорий. Что ж, может и так. Важно, что дошла — на все четыре части света.

Стоя под козырьком подъезда на заднем дворе, где обычно курили “ходячие” больные, доктора и медсёстры, Платонов глотал вечное, но благодаря влажности свежее уныние полными лёгкими и усиливал эмоциональное воздействие пейзажа на свою тонкую натуру очередным подробным изучением “морга-избушки”, как он его назвал, и воспоминаниями детства.

В противовес осенней мороси, но имея подоплёку в недалёком морге, память вернула ему сюжет жаркого лета, когда ему было шесть лет. В соседней квартире на их площадке умерла баба Лида, у которой родители иногда оставляли Костю, убегая по делам или в гости. Сегодня он вряд ли мог что-то хотя бы общее вспомнить о бабе Лиде, кроме того, что она исправно за ним следила и пыталась поддерживать безнадёжно пустую беседу, с бесконечно повторяющимися вопросами в разных вариациях, отчего у взрослого может возникнуть впечатление, что его проверяют на полиграфе. Но маленький Костя про детекторы лжи ничего не знал и терпеливо отвечал: папу не повысили, в школу — в следующем году, братика нет и не планируется, другие дяди за красивой мамой не ухаживают, потому что есть папа, читать-считать умею... И очень редко задавал свои вопросы, потому что на любой из них баба Лида отвечала не “почему Земля круглая”, а долгую историю своей жизни, и из уважения к старшим надо было сидеть и слушать её, теряясь в именах, датах, многочисленных родственниках и знакомых, а потому — абсолютно не обогащаясь историческими знаниями.

И вот в знойный июльский день баба Лида умерла. Чтобы узнать, что такое “умерла”, Косте пришлось спуститься со всеми взрослыми вниз к подъезду, когда туда вынесли гроб для прощания. Первое, что он почувствовал — сладковатый тошнотворный запах, источник которого ему был не очень понятен. Хотелось уйти куда-нибудь подальше, чтобы перебить его духом бушующей вокруг зелени. Странно, но старушки со скамеек от всех подъездов двора ринулись на этот запах, как пчёлы к цветку. От взрослых он услышал негромкое: “жара... разлагается...” и смутно догадался, что это относится к телу бабы Лиды, которое лежит в красном гробу и смотреть на которое очень страшно, хотя и любопытно. У соседнего подъезда стояли-топтались музыканты с блистающими на солнце духовыми инструментами и большим барабаном. Костику очень хотелось ударить в него колотушкой, которой помахивал дяденька, будто разгонял дым от собственной сигареты. Пришлось прислушаться к разговорам оркестра, откуда удалось выловить, что “сегодня два “жмура”, “водку в такую жару пить — смерть”.

— А что дальше? — тихо, понимая ответственность момента, спросил он у отца.

— Проводим, повезём на кладбище, там похороним... Поминки ещё. Баба Лида заслуженный человек была.

Два слова: “похороним” и “была” окончательно погрузили Костю в состояние нарастающего ужаса. Во дворе они с ребятами уже “хоронили” то мёртвого воробья, то бабочку, но люди, полагал Костя, не могут умереть. Не должны — уж это точно. И теперь, получалось, бабу Лиду тоже зароят в землю, потому что она “была”, и, значит, её не будет. Не будет больше никогда. “Никогда” ударило в голову и грудь леденящей волной таинственного страха. А тут ещё тело “разлагается”. Костик что-то слышал про Ленина, который лежит в мавзолее. Видимо, он лежит, чтобы его оживили, полагал Костя. Ну, когда-нибудь... Но бабу Лиду в мавзолее, судя по всему, нести не собирались.

Больше вопросов задавать не стал. Не мог. От страха. Хотелось быстрее отсюда убежать. Но куда бежать, если здесь стоят единственные защитники — родители. Но вот мама словно почувствовала его состояние и сказала папе:

— Игорь, Котика (так она его нежно называла) надо отсюда увести. Незачем.

— Да-да, — согласился папа, но почему-то не торопился.

И тут на весь мир грянула заунывная, к тому же фальшивая во всех смыслах музыка, которую называли похоронным маршем. Ужас перелился через край: Костя рванулся через плотный строй взрослых, выскочил из печального круга и без оглядки побежал в сторону недалёкой стройки, где, казалось, можно найти подходящее убежище. Но взывающие на глассандо трубы догоняли, ноги вот-вот могли стать ватными и непослушными. Где-то совсем рядом была смерть. Она легко могла догнать Костика, но догнал его отец: взял на руки, прижал к себе и сказал:

— Прости, малыш, до меня только что дошло, как это может тебя напугать.

— Музыка страшная, — прошептал Костик, прижимаясь к отцу всем телом.

— Да уж, — согласился отец.

— А смерть ко всем приходит? — спросил Костя, он как-то внутри себя определил, что смерть именно приходит.

Отец, похоже, немного растерялся от этого вопроса. Но потом вдруг твёрдо сказал:

— Ко всем. Люди всю жизнь готовятся к встрече с ней, а в итоге никогда не бывают готовы.

— Что — надо одеваться специально? Встречать? — Костя почему-то успокоился от понятой только что безысходности. — Смерть пришла — и всё? Тебя нет?

— Да, тебя нет. Но, говорят, есть душа, — сказал отец.

— Где есть? Зачем?

— В каждом из нас, чтобы жить вечно.

— А почему её не видно?

Отец опять озадачился, но быстро нашёлся:

— Чтобы смерть её тоже не увидела.

Дома Костик долго стоял перед зеркалом, пытаясь разглядеть в себе душу. Но, похоже, просто убедил себя в том, что она прячется, скажем, где-то в сердце...

С тех пор нет-нет да приходилось думать о смерти. Задаваться вопросом — что там? Пугающее тёмное ничто или-таки обиталище душ. Смерть периодически “напоминала о себе”, “захаживала” то с одной, то с другой стороны и надвигалась всей своей неотвратимостью. И сейчас, когда он смотрел в тёмные “глазницы” морга, испытывал двойное чувство: с одной стороны, он вдруг пожалел себя маленького, испуганного, как будто сам был своим отцом, с другой — со всей ясностью осознал, что в этот раз смерть приходила, собственно, к Константину Платонову и неуёмному материалисту Бабелю. Понимание того, к чему могла привести нелепая затея погружения в мир нищих, почему-то не вызывало запоздалого страха, а просто давило сверху, как свинцовое небо, и заставляло ту самую — искомую в детстве — душу осязимо содрогаться. Невидимая, она всё же легко напоминала о себе, то выталкивая сердце наружу, то наполняя его странной неизбывной тоской, которую так много рифмовали поэты.

Из глубокого дымчатого своей непроницаемостью окна морга сквозь мрачную муть на миг выглянуло мужское лицо. Выглянуло так неожиданно, что сердце Платонова отозвалось — скакнуло на месте. Он невольно отступил на шаг. Те незначительные черты, которые удалось разглядеть, показали Константину знакомыми. Вспомнился рассказ Маши о санитаре, которого мало кто видит.

— А может, это патологоанатом, должен же и он там бывать? — вслух спросил себя Платонов и направился в палату.

17

Когда Бабеля признали годным к транспортировке в областную больницу (а Платонова, собственно, вообще никто не держал), Максим Леонидович пообещал прислать редакционную “Газель”, и Константин вдруг заду-

мался: что сказать Маше? Что он вообще от неё хочет? И почему хочет быть рядом с ней? На удачу выпало её ночное дежурство, и после полуночи, когда она завершила обход палат, он приковылял на пост, но там её не обнаружил. “Отмаливает опять кого-нибудь”, — подумал с досадой, но тут же прогнал пустую злобу, вспомнив о Бабеле. На всякий случай заглянул в ординаторскую, Маша оказалась там: задумчиво сидела над чашкой чая и надкушенным рогаиком.

— Доброй ночи, — сказал Константин и мгновенно впал в ступор. В сущности, он так и не знал, что ещё он хочет сказать Маше. Потому растерялся да к тому же невольно залюбовался её прекрасной задумчивостью.

— Не спишь? Чай будешь? — встрепенулась Маша.

— Буду.

Маша нажала кнопку на электрическом чайнике и с вопросом поглядела на Платонова.

— Да садись, чего стоишь на трёх ногах? — улыбнулась.

Но Платонов никак не мог сбросить странный морок, в голове или в душе — скорее и там и там, творился не поддающийся хоть какой-либо систематизации сумбур. Он так и висел на костылях, то поднимая, то опуская взгляд, который изначально был виноватым.

— Что с тобой? — прищурилась Маша.

— А доктор-то где?

— Домой уехал. Ребёнок у него заболел. Если что, позвоню, придет. Тебе доктор, что ли, нужен? Плохо тебе? — Маша с готовностью поднялась из-за стола и подошла ближе. — Плохо?

— Не знаю, — честно признался Платонов. — Но доктор мне не нужен. Только... не обижайся. Ты как-то к этому относишься... В штыки...

Маша заметно насторожилась, и Константин, почувствовав это, окончательно “поплыл”, тряхнул головой, чтобы собраться, но фразы получались глупыми и сумбурными.

— Маш, я никогда не видел такой девушки, как ты. У тебя сочетание красоты внешней и внутренней. У меня вот здесь, — он кивнул подбородком на область сердца, — щемит. Или саднит. Не знаю даже. Мы завтра в обед уедем. А я не хочу. Не то чтобы не хочу. Я без тебя не хочу.

Маша что-то пыталась сказать, вроде даже шептала, но Платонов не давал ей опомниться.

— Вот стою, как пацан какой-то. Просто, Маша, мне кажется, что я тебя полюбил. По-настоящему... И сказать ничего толком не могу, потому что по-настоящему у меня в первый раз. До этого я не знал, как это. Беда в том, что ты тут почти святая, а я... — дальше Платонов не знал, что говорить, а когда поднял глаза и увидел, что по щекам девушки бегут слёзы, потянулся к ней правой рукой, роняя костыль, но она вдруг отступила назад и посмотрела на него так пронзительно, что сердце ухнуло и провалилось в чёрную бездну.

— Где ж ты раньше был? — тихо сказала Маша. Потом вдруг напряглась и горько усмехнулась: — Красивая, говоришь, святая?

— Да, я знаю, мне что-то рассказывали, но меня это не волнует, — нелепо заговорил Платонов, но Маша вдруг начала расстёгивать пуговицы халата.

— Маш, т-ты... Ты неправильно меня поняла... — лепетал журналист, стыдясь своей неуклюжести, опуская глаза.

— Смотри, — не приказала, но твёрдо попросила Маша. — Смотри, и поедешь домой спокойно. Одному ухаждёру этого хватило.

Константин вынужденно поднял глаза, и у него окончательно перехватило дыхание. Сначала он увидел стройное тело, но даже при свете настольной лампы в глаза бросились многочисленные шрамы на животе, груди — там, где позволял это видеть бюстгальтер. Жуткие шрамы, похожие на червей, впившихся в нежную девичью кожу.

— Господи... — на такие случаи у Платонова не было запаса слов.

Он снова потянулся к Маше, но она так же твёрдо отстранилась.

— Они хотели пустить меня по кругу. Вип-сауна... гогочущие братки, бизнесмены и даже политики мелкого масштаба. Заказали для одного, а по-

направилась многим. Вот тебе и красота, Костя. Хотела сбежать. Легонько побили. Начала вырываться, тогда распяли на длинном деревянном столе, где только что стояли кружки с пивом... Ноги привязали веревкой к ножкам, а руки прибили гвоздями. Жалели, что под рукой не оказалось “сотки”: мол, солиднее, и прибывать пришлось “восьмидесяткой”...

— Как Христа? — не выдержал Костя.

— Даже не сравнивай! Не смей! — выкрикнула Маша. — Я же зарабатывала блудом. Таких историй, как со мной, можно километрами рассказывать.

— У тебя на кистях нет шрамов...

— “Восьмидесятка”... На удивление быстро зажило, остались только точки. А потом играли на меня в карты, всё равно делали, что хотели. Когда назабавились, стали тушить окурки. Везде, где хотелось. Одному пришлось в ум: сделаем из неё пепельницу. Я уже не кричала, потому что пообещали насыпать в рот горячих углей, и было ясно, буду орать — насыплют.

— Таких... — куда-то в пол, наполняясь неуправляемым гневом, прорычал Костя, — таких, — он не мог придумать пытку, — в дерьме топить надо.

— Они считали себя хозяевами жизни, — Маша торопливо застегнулась и вернулась к чаю, — а я для них проститутка, кусок мяса с детородным органом, который можно купить, как в магазине. Вот... — лицо Маши стало непроницаемо безразличным. — Теперь ты знаешь почти всё. Можешь уезжать.

— Маш, я много знаю печальных историй, профессия такая... — Константин вдруг успокоился и обрёл уверенность. — Да, я не был готов к такому зрелищу, но меня сюда не похоть привела, — он потупился, — что-то другое. Я не могу сказать, что твоё лицо, твои глаза, твоё тело не манили меня. Если скажу так сейчас, солгу, но было ещё что-то, и оно — не меньше, чем то, которое внешнее.

— Поздно, Костя. У меня тоже что-то внутри оборвалось, когда я увидела тебя на полу в том доме. Без сознания... Но пойми, мне не тело, мне душу прижгли окурками.

— И ты решила лечить её молитвой? В церковь пошла?

— А надо было к психотерапевту? — с вызовом вопросом ответила Маша. — Я чуть руки на себя не наложила! Мне Господь в самый последний миг священника послал, и не просто человека с кадилом, а именно — священника! Но, — Маша вздохнула, — это уже другая история.

— Да нет, ты не поняла, я не против... Я видел, я чувствовал, у тебя дар какой-то...

— Нет у меня никакого дара! Нет! Такой у каждого человека есть! Пост и молитва! Но собственную душу я вылечить не могу. Чувство омерзения всякий раз... В общем, что я тут тебе рассказываю.

— Маш, — Платонов уже не покусывал, а грыз губы, — я рядом с тобой в ту ночь почувствовал собственное несовершенство. Свою грязь, если можно так выразиться. Что-то сломалось во мне, а что-то очистилось от какого-то древнего налёта. Думай про меня, что хочешь, но ожоги твои вылечить можно. И те, — опередил он сомнение Маши, кивнув на её грудь, — и те, что в душе.

Маша опустила глаза. Количество слов, которые невозможно сказать, вытеснило уже сказанное. Платонов продолжил уже без надежды, вместо многоточия:

— Любовь, Маша, слово огромное. Я боюсь его произносить именно потому, что раньше оно выскакивало, как мыльный пузырь, чтобы лопнуть при столкновении с любым сопротивлением. Но любовь, Маша, бывает, она есть, я не вижу ничего предосудительного в том, что мужчина и женщина могут любить друг друга. Это, наверное, тоже дар Божий.

— У тебя нога срослась, — сказала вдруг Маша сквозь задумчивость, — можно завтра гипс снимать.

Константин сразу в это поверил, но возмутился:

— Да о чём ты?! Я тут...

— Иди спать, Костя. Пожалуйста, — она попросила так, что отказать ей в этой просьбе было сравнимо с отказом в последнем желании.

Платонов со вздохом повернулся на костылях и направился к выходу. Когда он был уже на пороге, Маша добавила:

— Они потом все перестреляли друг друга. Много позже уже. Перестреляли, потому что не верили друг другу. Никогда. Вместе они могли только уничтожать, разрушать, предаваться пьянству и разврату. А я не верила бабюшке. Я хотела мстить. И ты хочешь.

— При чём здесь это? — начал было поворачивать обратно Константин.

— Ни при чём, иди спать. Ты всё равно хороший, Костя. Иди, пожалуйста, — и опять это детское “пожалуйста” не оставляло шанса на продолжение разговора.

Бабель и Иван Петрович словно ждали его возвращения. Зашуршали простынями, как вампиры в ужасниках.

— Ну что, на совместную молитву ходил? — ёрничая, спросил Бабель.

— За твою загубленную душу, Степаныч, — холодно ответил Платонов, плюхнулся на кровать и отвернулся лицом к стене.

Сколько раз в жизни он разочаровывался в этом мире? В людях? В себе?.. И Бабель своею едкостью только подтвердил общее правило кривого зеркала.

— Слышь, Кость, а ты, никак, предложение Маше делал? — подал-таки голос догадливый машинист.

— Слышь, кость, — передразнил Платонов, — ты у меня в горле.

— Не понял? — не уловил игры слов Иван Петрович.

— Иван Петрович, — не выдержал Платонов, переходя на крик, — вот если б тебя на ночь глядя с тупой улыбкой по копчику пинали с вопросом: больно?!

— Понял почти, — засопел Иван Петрович.

— Ничего ты в этой жизни так и не понял, Костя, — вернулся Виталий Степанович в свою любимую зону “старшего” товарища.

— В этой? Нет, — согласился Платонов. — У меня специалист под бок. Бесплатные круглосуточные консультации. Мы работаем под девизом: Бог вам не ответит, а Степаныч — всегда! Спать будем?

18

Сон выскочил, как тать из-за угла. Как двадцать пятый кадр, который неожиданно остановился и стал явен. Он выскочил из памяти, как чёртик из табакерки, не выключив при этом дневное сознание. Сон пришёл из школьного детства, но взрослый Платонов оставался в нём как сторонний зритель, способный ощущать себя десятиклассником Костей и одновременно журналистом Платоновым, зрящим за всем, что происходит, не только глазами мальчика, но и взрослого человека — откуда-то сверху — из понимания сна. В то же время — спящий нынешний Константин Игоревич мог смотреть внутрь — в закоулки души обоих Платоновых. И от тех внутренних колебаний, которые он улавливал, содрогалось что-то не только в нём, но, собственно, во всём мироздании, во внутренней его сути.

Как только Константин понял, из каких воспоминаний пришёл этот сон, ему сразу стало стыдно. Всё просто: человек засыпает, сбрасывает морок суеты, совесть, напротив, просыпается. Иногда вереница мерзких постыдных поступков, иногда отдельная вспышка собственной подлости заставляют душу содрогаться, будучи пронзённой невидимым клинком совести. Что это? Отголосок Страшного Суда? Его репетиция? С каждым ли это бывает? Или есть люди, которые изначально оправдали все свои поступки?

Казалось бы, за давностью случая можно было бы не придавать ему никакого значения. Просто забыть, как не приведший к тяжёлым (во всяком случае внешним) последствиям. Но ущерб, изъян, нанесённый миру внутреннему, может проявлять себя куда как болезненнее, чем пара синяков и сса-

дин, которыми всё закончилось. Платонов и старался его забыть, но наваждение порой прорывалось...

В каждом школьном классе периодически назревают конфликты. Любое скопление людей искрит. Знание об этом носится в воздухе, даже не воплощаясь в словах. О том, что сегодня будет драка, можно узнать даже опоздав на первый урок, когда все сидят и делают вид, что слушают учителя, и ему даже кажется, что в глазах у школьников плавают интерес к освещаемой теме, но в действительности это предвкушение того, что будет после уроков. При этом опоздавший, принимая это напряжение буквально из воздуха, может не знать только одного, что главный участник предстоящего конфликта он сам. Ему скажет об этом сосед по парте, а не только учитель позволит ему себя.

Так было и с Платоновым. Он не слыл в классе ни слабым, ни сильным. Более того, сам себя он определял миролюбивым и, по возможности, старался избегать бессмысленных с его точки зрения драк, которые год от года становились ожесточеннее и беспощаднее. Неписанные правила — “лежачего не бьют”, “до первой крови”, “пожмите друг другу руки после драки” — постепенно уходили в романтическое прошлое. В моду входило жуткое, порой массовое запинывание, унижение слабого (если он не являлся другом сильного), а уж кровь лилась порой ручьями под колёса “неотложек”. И напиравшая ристалище гниловатая, распяляющая агрессию атмосфера сквернословия. Поводом к бессмысленному мордобитию могло быть неосторожно сказанное или неправильно истолкованное (чаще всего именно с целью провокации) слово. Вот почему так модно было одёргивать друг друга: “фильтруй базар”. Но, исходя из такого рода фильтров, лучше было вообще откусить себе язык. Костя “фильтровал” не из трусости, просто разумно берёг голову от бессмысленных ударов. Но это вовсе не значило, что тебя не пожелают прощупать на способность постоять за себя. Ты молчишь — о тебе скажут, тебе передадут, попробуй отмахнуться... Может, и отмахнёшься. Раз, другой, третий — и ты в списке презираемых “ботаников”, “очкариков”, “оленей” и т. п. Костя часто размышлял по этому поводу, пытаясь разобраться, отчего люди играют по правилам нелюдей, но вынужден был признать себе сам, что “правила добра” проигрывают чаще всего потому, что их носителями являються не бойцы, не смиренные от природы, а просто малодушные люди. Малодушным выглядеть не хотелось, а вот трусом считать себя приходилось. Именно потому, что напускную храбрость надо было проявлять там, где попирались “правила добра”. А ещё приходилось тратить время на подкачку мышц и посещение секции единоборств, что худо-бедно придавало тебе веса, а по сути, избавляло от лишних попыток поискать твои слабые места да и просто унизить.

В то утро сосед по парте и закадычный друг Гоша сообщил Косте, что Тиня (Олег Тенев) вчера рассказывал, как Платонов отказался выйти один на один с Ершовым из восьмого “б”. Уникальность ситуации заключалась в том, что десятиклассник Костя Платонов просто не захотел “топтать” младшего, хоть и крупного Ершова. Все, кто видел эту ситуацию, не усомнились в правильности поступка Платонова. Он просто отшвырнул наглеца в сторону и без того ушёл победителем, не обращая внимания на летящее в спину, порождённое слабостью противника хамство (хотя в таких случаях принято останавливаться, нехотя возвращаться и наладить раздражающему объекту пинка). И вот — конфликт, который не стоил выеденного яйца, — просеялся через кривое зеркало, вернулся совсем в другом виде.

— Коть, тебя чё вчера, Ёрш напугал? — шептали доброжелатели с задних парт.

— Ты чё, Коть, из ерша уха наваристей...

“Напугал”-то Ёрш, а бить придётся безобидного Тиню, которого уж точно чёрт дёрнул за язык, и теперь он сам опасливо оглядывается с первой парты, поправляя жалкие очки: какое решение примет “неконфликтный” Котя Платонов. А потом ещё надо будет пойти и пнуть-таки Ерша. Неписанные дворовые законы.

— А Тиня типа говорит, Котя трухнул, — подзуживает Гоша и сразу определяет: — Да нахлобучь ты пару раз тому и другому, чтоб базар фильтро-

вали. Тиня-то с Ершом в одном подъезде живут. Ёрш, наверно, Тиню строит. Он, главное, при девках это сказал. Прорубаешь?

И во сне взрослый Платонов начинает понимать, что ему-таки придётся бить безобидного Тиню. Хотя бы так, для виду и развлечения толпы. И Тиня это тоже уже понимает. Под захватанными линзами моргают слегка испуганные глаза: “Да, Коть, это я лупанул, не подумав, Ёрш-то то во дворе всем хвастался, что ты с ним драться побоялся, но я-то вовсе не так рассказал, я и говорил, что тот на весь двор бахвалился, а тебе что сказали?..” “А ты не знаешь, Олежек, чего мне могли сказать?” — сверлит его глазами Платонов. И взрослый Константин Игоревич во сне вздыхает. Он знает, что этой драки не избежать, что она на всю жизнь ляжет на его совесть несмываемым позором, хотя по “законам улицы” позор должен будет достаться Теневу.

Да и не драка это вовсе была. Вышли во двор (гурьба парней — похотывая в предвкушении зрелища, девчонки — кому покурить, мелочь пузатая — “позырить”, и Ершов подтянулся — а вдруг выгорит победить Платонова?). И вот Олег Тенев — Тиня — снимает очки, отдаёт их кому-то. Платонов бросает Гоше вельветовый пиджак, перевязывает шнурки на кроссовках: даёт время Тине покаяться, дабы избежать бессмысленного кровопролития. Но Тиня молчит. Он стоит, опустив руки, и беззлобно смотрит на Костю. И что делать?

— Ну, чего ты там, Тиня, базарил? — сам себя подзаводит Платонов.

И толпа тут же просыпается:

— Котя, да врежь ему, чтоб очки было не на чём носить!

— Платон, мочи!

— Костян — потренируйся, тоже надо!

— Тихо, а вдруг щас Тиня разойдётся и Платону вмажет?!

Но Тиня не вмазал. Не разошёлся. Он всё так же стоял, не предпринимая никаких действий, покорный судьбе. Во взгляде читалось: “если надо — бей, я понимаю”. “Да что за христосик такой!” — хотел крикнуть Платонов, но сказал другое.

— Тиня, ты хоть кулаки-то подыми.

Олег не поднял. Платонов зачем-то поискал глазами в толпе Ершова. Нашёл. Тот стоял с ехидной ухмылкой. И в этот момент Константин подумал, что бить будет именно его. Зря подумал. Взрослый Платонов ощутил, как рука скользнула вдоль челюсти Олега Тенева. Это, ко всему, оказался ещё и явный промах. Голова Тини чуть качнулась — и всё!

— Платон, ты на ринге так же мажешь?!

— Ты чё, Котя, веером работаешь?!

— Ты его ещё поцелуй!

Но ведь, чтобы бить, надо хоть на миг взглянуть в глаза противника. Глаза были, не было противника. Тиня смотрел всё так же беззлобно. Правда, казалось, он с трудом сдерживает слёзы, чтобы окончательно не опозориться. А Платонов в роли общественного палача должен был длить этот позор. Его или свой?

Что надо было делать? Надо было броситься в эту маргинальную массу, биомассу, и месить её кулаками во все стороны. И чтоб обязательно Ершову досталось — для профилактики! И всем! И даже другу Гоше! Он ведь тоже стоит ехидно ухмыляется: “Мочи, Котя!”. Мочи ему... Придумали же слово — мочи! Как будто надо испражняться тут перед всеми. Ринуться в эту массу... Но этого боялся даже взрослый Платонов, который смотрел на всё происходящее спящим — снаружи, изнутри, со стороны, с неба и ничем не мог помочь самому себе! Не мог помочь Олегу Теневу, потому что даже из своего взрослого состояния боялся этих дворовых бультерьеров. Боялся ещё тем детским, ну, может, юношеским, не изжитым до сих пор страхом.

Вся подлость в мире от трусости, будет потом не раз говорить себе Платонов. Но в тот раз он начнёт бить Тиню... Два-три удара — и Олег на земле. Можно победно поворачиваться, вытащить из толпы Ершова и при всех напирать ему под зад. Можно и нужно. Но Тиня лежит и смотрит на Платонова слезящимися глазами, в которых Котя — мамин Котя — нежный,

добрый Котя читает: ты же такой же, как я, ты не такой, как они, мы с тобой из одного теста. И в это тесто Константин Платонов наносит ещё один удар — никчёмный и беспощадный, от которого взвизгнули даже выдавшие виды девицы с сигаретами в зубах. Тиня наконец-то закрыл глаза, а Платонов повернулся в сторону Ершова. Но того уже нет. Тому уже не стыдно убежать, что он и делает. И смеяться над ним не будут: он младше, ему простиительно, а Платонов явно не в себе — и убить может.

— Да ты, Костя, зверь! — это хвалят или подкалывают?

— Сигарету надо?

— Ты ему ваще свет потушил.

— Слышь, воды Тине кто-нить принесите!

Костя вышел из порочного круга, Гоша устремился за ним. Платонов заметил, как кто-то “смилоствовался” и подал Теневу руку. Он с трудом поднялся, вытирая платком кровь из-под носа, глаза были полны слёз. Каких усилий ему стоило не заплакать? “Мужик”, — подумал маленький Костя. “Гад”, — подумал о себе Константин Игоревич.

— Да нормально всё, — это Гоша (друг всё-таки) уловил состояние Платонова. — Ты ж не виноват?

— А он? — неожиданно спросил Костя.

— Базар фильтровать надо, — только и нашёлся Гоша.

— Фильтровать... — передразнил Костя.

— Котя, вот чё, тебе выпить надо. Пойдём, купим чего-нибудь. На факкультатив можно и не ходить. На пустырь пойдём...

Эх, как это хорошо у русских получается. Набил кому-нибудь морду, — вышей водки. Обряд, инициация. Набил, выпил — мужик! Ещё матом надо кого-нибудь покрыть, позабористее. А в глаза Тине смотреть было невыносимо стыдно.

Они сидели на пустыре посреди зарослей конопли и глотали прямо из горла дешёвое кислое “Эрети”.

— Да нормально всё, — часто повторял, отхлёбывая, Гоша.

Костя не пытался понять, что именно нормально. Пустырь, что ли, превращённый любителями выпить в ресторан под открытым небом? Не хватало только официантов-бомжей, разносящих ириски и пирожки с ливером. Странно, но именно на этом пустыре, который из очередной великой стройки города превратился в поросший травой долгострой, ощущалось светлое будущее. Оно таилось символами забвения эпохи нынешней — вбитыми по горло в землю облупившимися сваями, окаменевшими бетонными курганами, в который превратились огромные мешки с цементом, и обломками деревянного жилья, которое обреталось здесь ещё с восемнадцатого века. Оно вытекало из этих символов и устремлялось в бесследно проплывающее майское небо последнего школьного года. Оно возвращалось из голубой глубины, прореженной струйками облачной дымки, чувством необъятного простора и принадлежности к пусть и не самой совершенной, но всё же великой империи. Оно выступало солёной влагой на глазах и щемило в груди. И хотелось лететь...

Где-то на окраине пустыря заработал бульдозер. Младший Костя тревожно оглянулся. Старшему это делать было не обязательно, он знал, что бульдозером захрапел на соседней койке Иван Петрович.

— Дурак, — оценил себя семнадцатилетнего Константин Игоревич.

— Это ты про меня, что ли? — встрепенулся в углу Бабель, который не мог заснуть.

— А? — переспросил Костя, он и сам только что вынырнул в затхлую реальность районной больнички, с горечью осознавая, что упустил ещё нечто важное в майском небе последней весны детства.

— Кто дурак-то у тебя опять? — повторил вопрос Бабель.

— Не парься, Степаныч, это я о своём, — отмахнулся Платонов, снова поворачиваясь к стене.

Хотелось вернуть утраченное чувство безбрежного и обязательно счастливого будущего. Небо с тех пор чаще хмурилось и заметно посерело.

— Ну что, Движда, Машенька сказала, можно тебе гипс снимать, — после завтрака на осмотр пришёл доктор Васнецов.

— Доброе утро, Андрей Викторович, — в голос поприветствовали больные.

— Но, — продолжил врач, — рентген я сделать всё равно обязан. Лишнее облучение, конечно. Магдалина наша ещё ни разу не ошибалась, но я обязан. Понимаете?

— Понимаем! — опять ответили все в голос, словно вопрос касался не только Платонова.

— А вас, Виталий Степанович, областные светила дальше просвечивать будут. Гематома ещё есть.

— А чё там просвечивать, мозги в кучке — и ладно, — улыбнулся Степаныч. — Спасибо вам, с того света вернули...

— Да это Магдалине нашей спасибо...

Степаныч вдруг даже подпрыгнул, выжался на обеих руках:

— Да при чём здесь эта хоть и красивая девушка! Хоть вы-то, доктор, мракобесием не занимаетесь!

— Почему это так вас раздражает? — удивился Андрей Викторович.

— Да потому что лечиться надо нашему народу. То коммунизм строит, то в церковь бежит. Сам ни на что не способен!..

Платонову стало вдруг скучно и тошно, он поторопился покинуть палату, зная на сто шагов вперёд аргументы Степаныча, заимствованные из популярных псевдонаучных журналов и собственной гордыни. Он попрыгал в сторону рентген-кабинета, желая быстрее избавиться и от рациональной логики Бабеля, и от неприятной тяжести гипса, под которым последние три дня жутко чесалось.

Но у двери “лучевой диагностики” вдруг оказалась огромная очередь. Как назло именно в этот день какое-то местное предприятие отправило своих работников на обязательную флюорографию. Удачное начало дня, похоже, умерло в длинной череде лиц с грустной покорностью на усталых лицах. Платонов занял очередь, подумал о том, что неплохо бы повидать Машу, но ещё не придумал, как и что он хочет ей сказать. Поэтому просто вышел во двор — избавиться от больничных запахов, суеты, мыслей, посмотреть: чем там живёт провинциальный мирок, вмерзая в новую русскую зиму.

Во дворе было тихо и пасмурно. Хмарь небесная стыло давила унылый пейзаж. Воздух застыл и перестал двигаться, и в нём, похоже, окоченела осенняя тоска, вдохнув которую хочется убежать куда-нибудь за три моря.

Платонов непроизвольно воззрился на морг и только через две-три минуты осознал, что заставляя его с любопытством тратить свой взгляд на избушку Харона. Дверь была приоткрыта. Чуть-чуть. Этого “чуть-чуть” стало достаточно для того, чтобы, взмахнув костылями, Константин Игоревич поскакал к “последнему причалу”. Зачем? Да кто ж знает? Если бы человек мог объяснить все свои поступки, жизнь имела бы привкус приторной рациональности.

Петли, вероятно, были неплохо смазаны, и дверь, оббитая листовым цинком, даже не скрипнула. Константин оказался в невзрачном узком коридоре, имевшем с одной стороны три окна, а с другой — три двери. Ближняя была открыта, и Платонов без приглашения оказался в той самой мертвецкой, игнорируя выцветшее объявление “посторонним вход строго воспрещён”.

“Разделочные столы”, — определил журналист увиденное и обрадовался, что сегодня они пусты. Значит, сегодня никто ещё не умер. Смерть дремала здесь на каждом предмете, на блёклых кафельных глухих стенах, на покрытых бурыми пятнами каталках, на потрескавшейся поверхности письменного стола, на какой-то нелепой инструкции, обтянутой полиэтиленом, на “чёрной дыре” стока в полу. Наверное — не смерть даже, а её присутственная форма — мертвенность. Её сладковатое тошнотворное дыхание будто ощущивало лёгкие всякого входящего — жив, не жив? Если жив — ко-

мок тебе в горло — уходи, пока твое любопытство не стало привычкой умирать...

— Чего надо?!

Платонов резко развернулся, вздрогнув всем телом, чуть не выронив костыль и собираясь извиняться за непрошеное вторжение, но на миг оцепенел. Перед ним стоял Фёдор.

— Во как, — воспользовался он присказкой Ивана Петровича.

— Чёрт, — выругался Фёдор, который тоже узнал Платонова, — ты что, на запах пришёл?!

— А ты, выходит, порой сам себе работу подбрасываешь? — усвоенная наука не позволяла Платонову ждать нападения, и он мгновенно отреагировал, когда руки Фёдора только начали движение в его сторону. Превратившийся в оружие костыль обрушился на предплечье противника. Фёдор ойкнул, немного просел, а Платонов, сам потеряв равновесие, с размаху нанёс второй удар — по голени, словно возвращая Фёдору то, что пришлось испытать самому. Теперь уже тот крикнул явно и звонко, шлёпнулся на спину, но и Платонов уже лежал напротив него.

— Ты мне руки сломал, я чем трупы мыть буду? — простонал Фёдор.

— Тебе самому помыться не грех. Смердит.

— Чего теперь, мусорам меня сдашь?

— Сначала Нюрнбергский процесс...

— Чего?

— Зачем вы это сделали?

— Шпала так решил, от вас мусарней за полкилометра несло, а он месяц как откинулся. А тут ему как раз дело какое-то подвернулось. Думал, вы подсадные...

— Шпала — Виктор?

— Ну, Виктор. Блин, больно, аж круги перед глазами. — Фёдор застонал и зажмурился.

— А ты думаешь, мы с Бабелем кайф ловили?

— Бабель — это старый, что ли? Так он, говорят, выжил. Магадилина вымолила.

— Говорят. А если бы не выжил?

— А чё я сделаю?! — возмущённо прокричал Фёдор, как будто Платонов был виноват в том, что пришлось “приголубить” их обрезком трубы.

— Ты? — поднявшийся на ноги Платонов стал внимательно осматривать костыль, которым бил Фёдора, по всему было видно, что он очень хочет треснуть санитару костылём ещё куда-нибудь. Играть Константину в этом случае не приходилось. — Ты? — повторил он. — Можешь зарезаться ржавым скальпелем патологоанатома, можешь себя выпотрошить тут, или я тебя выпотрошу, но сначала ты мне скажешь, на какой дороге твою Шпалу найти. По нему рельса плачет, — Константин выразительно посмотрел на костыль.

— Можешь меня тут всего переломать, — спокойно заявил Фёдор, — но я в натуре не знаю, где он сейчас. На дно где-то лёг.

— Из-за нас?

— Да он таких, как вы, вообще в расчёт не берёт, говорю же, у него тут свои дела были, а вы под ногами болтались.

— А ты, значит, у него шестерил.

— Он меня от тюрьмы, от второй ходки отмазал.

— И ты вместо тюрьмы — в морг.

— Пошёл ты, интеллигент вшивый, ты на работу после зоны устроиться хоть раз пробовал?! Тут, между прочим, тоже кому-то пахать надо. Мой доктор вообще со стакана не слазит. На работу через раз выходит. Я уже за него всё научился делать.

— Ты, наверное, чаял нас на этих столах увидеть, — грустно ухмыльнулся Павел.

— Ничё я не чаял, не чайник я, чтобы чайть, мешали вы, не хрен лезть куда не надо. Слышь, чё-то у меня совсем перед глазами темнеет. Отрублюсь щас.

— Ничего, тут “скорая” недалеко. Вызову.
— И ментов тоже?
— А ты чего ждёшь? Войска ООН? Красный Крест? Девочек по вызову? — Константин развернулся и поковылял к выходу.
— Слышь? — крикнул вслед Фёдор. — Не хотел я твоего старика мочить. Честно — не хотел. Шпала сказал: сделай так, чтоб под ногами не пугались.

Платонов ничего не ответил. Больше всего ему сейчас хотелось снять гипс и увидеть Машу. В голове у него свербил неприятный вопрос к ней: “Ты знала, что убийца работает в морге?”. Он будто заранее на неё обиделся, но в то же время не мог понять — почему сам испытывает перед ней какую-то смутную вину, в том числе за тех, кто причинил ей боль.

— Гестапо, — вспомнил он страшные шрамы и содрогнулся.

На крыльцо “вышел подышать” доктор Васнецов.

— На рентген очередь? — догадался он.

— Профилактика туберкулёза у трудящихся, — пояснил Платонов. — А там, — он оглянулся на морг, — Андрей Викторович, вас срочная работа ждёт.

— Не понял, это шутка такая? — насторожился Васнецов.

— Да нет, санитар там, поскользнулся, что ли, руки-ноги переломал. Я услышал, зашёл. Фёдор, вроде, зовут.

— Тыфу ж ты, думал, день как день, а тут... — Андрей Викторович досадно махнул рукой, вытаскил из кармана мобильный телефон и по ходу движения к избушке морга скомандовал в трубку: — Лера, дуй в морг и прихвати с собой ещё кого-нибудь. Нет, я не оговорился. Анекдот, что ли, не знаешь: доктор сказал в морг, значит — в морг...

20

Происшествие в морге выбило Константина из колеи, которую он себе на день наметил. Правду говорят: хочешь увидеть улыбку Бога, расскажи ему о своих планах. Теперь Платонов пребывал в некоем замешательстве, прострации, и эта задумчивая заторможенность позволила ему незаметно достоять очередь на рентген, затем так же высидеть в перевязочной, потом почти не заметить боль при попытке шагнуть на освобождённую от гипса ногу. Константину казалось, что он о чём-то думает, но, в сущности, мозг его воспринимал не какой-то чёткий поток сознания, а мозаику образов, обрывков мыслей, настроений, рефреном к этому хаосу звучало незнание. Он не знал, что ему дальше делать. Заметно хромая, он вернулся в палату и сел на кровать. Навскидку оценив состояние Платонова, Иван Петрович и Виталий Степанович от каких-либо расспросов отказались.

— Всё нормально, Костя? — только-то и спросил Бабель и удовлетворился ответом “не знаю”.

Стоило Платонову подумать о милиции, и она тут же явилась к нему в образе капитана Никитина. Выглядела милиция всё так же устало, равнодушно и относительно трезво.

— Добрый день, — приветствовал Никитин. — Слышал, вы собираетесь уезжать?

— Надемся, — ответил Бабель.

— У меня тут к вам... — Никитин замялся, вытаскивая из потёртой папки листы. — Вот, посмотрите, — сначала он подошёл к Платонову, — вам знакомо это лицо?

С выведенной на бумагу копии фото на Платонова смотрел Виктор.

— Неужто нашли? — удивился Константин Игоревич, сбрасывая с себя недавний морок.

— Да... Почти...

— Что значит почти?

— Кто? Где? — пытался включиться Бабель.

— Витя Шпала, — ответил ему Платонов.

— Какая шпала? — не понял Виталий Степанович, заметно волнуясь.

— Шпалой его прозвали потому, что на станциях в основном работал, — пояснил Никитин несведущему Бабелю. — Один из тех, благодаря кому вы попали в реанимацию.

— Ого! — обрадовался Бабель. — А я думал, места у вас здесь “глухаринные”. Очередной висяк будет.

— Работаем, — без обид пожал плечами капитан.

— А что значит — почти поймали? — спросил Платонов.

— Нашли его мёртвым на соседней станции с проломленной головой, — равнодушно сообщил милиционер.

— Во как! — первым оценил новость Иван Петрович. — Награда нашла героя.

— Когда? — спросил Платонов.

— Сегодня утром. Скорее всего, какие-то свои разборки.

— И вы так оперативно?..

— Я сам туда ездил, — опередил вопрос Никитин.

— Что, Костя, может, и это твоя Магдалина намолила? — прищурился вдруг Бабель.

Иван Петрович и Никитин посмотрели на него с явным непониманием и осуждением. Платонов — с сочувствием.

— Она здесь ни при чём, — твёрдо сказал он.

— А что! Сплошная мистика: нам выписываться, а тут, как говорил Конфуций, трупы врагов по реке проплывают! Созрели!

— Протокол надо подписать, — как-то неуверенно попросил Никитин. — Я уже заготовил. Прочтите. — Он вынул очередной лист.

— Вот ведь, действительно, совпадение, — не унимался Бабель.

— Надо ещё сообщника найти, — напомнил капитан.

— Да лежит... где-нибудь... тоже... в морге... — криво ухмыльнулся своему знанию Платонов.

— Вполне вероятно, — согласился Никитин, — а может, это он своего дружка и оприходовал. А сам — в бега. Вот фоторобот с ваших показаний мы уже отправили по райотделам, по линейным... Может, и всплывёт где.

— А Шпала-то зверь был. Не в себе парень. Я ещё в девяностые о нём слышал, когда он по малолетке чалился. Он, кстати, в школе за Машей нашей ухаживал. Да-да, за Магдалиной. У меня сын с ними учился. Во как, — поделился знаниями Иван Петрович.

— Санта-Барбара, — оценил рассказ Бабель. — Костя, ты на ус мотай, будет чем с народом поделиться.

— Суeta всё это, — неопределённо ответил Платонов. — Что-то с этим миром не так.

— Ты только заметил? — хитро прищурился Бабель.

— Степаныч, оттого что ты видишь это давно, легче никому не стало, — с вызовом откликнулся Константин.

— Ну, это понятно, — грустно согласился Виталий Степанович, — тут не попишешь...

— Вот именно, не попишешь, — грустная ирония Платонова передалась всем, и в палате стало тихо.

День потом превратился в томительное ожидание: не Максима Леонидовича с машиной даже, а чего-то неопределённого и тревожащего. Иван Петрович пытался напоследок несколько раз заговорить с новыми друзьями на злободневные темы, рассказать о своём трудовом пути (журналисты же, вдруг для материала сгодится), но ответом ему была звонкая грусть. Платонов, сколько мог стоять на неокрепших ногах, стоял у окна и, как незрячий, смотрел в одну точку либо спускался в больничный двор. На морге висел привычный замок. Фёдор, вероятно, уже обретался где-нибудь в соседней палате, напрасно ожидая прихода капитана Никитина. Хотелось срочно увидеть Машу и задать ей всего один вопрос: “Ты всё это знала?”. Но из этого вопроса возникла другая, куда больше и значительнее первого: что вообще она знает?

Заглянул Платонов и в ординаторскую, где пил чай доктор Васнецов.

— Андрей Викторович, а можно мне адрес Маши? — с ходу попросил Платонов.

— Адрес? Маши? — врач явно не ожидал такой просьбы, был не готов ответить на неё: — Вообще-то мы тут не очень-то раздаем адреса наших сотрудников...

— Да я почти знаю, где она живёт. Напротив того дома, где нас “приголубили”...

— “Приголубили”? Да нет... Не там. Напротив там типовая двухэтажка ещё с тридцатых годов. А Маша в общаге. Общага на параллельной улице. Она как из детского дома уехала, там и живёт.

— На параллельной?

— Да, общага РЖД. Там её поселили. Отец у неё ремонтником в депо работал. Умер рано. Ей лет семь было. А мать ещё раньше.

— Н-но... — растерялся Платонов. — Тогда, действительно, откуда она могла знать про нас с Бабелем? — Он даже не понимал, кому задал этот вопрос.

— Ну, спрашиваешь. Магдалина же! — на всякий случай ответил Андрей Викторович.

— Ну да, ну да... — повернулся на сто восемьдесят градусов Константин, в голове которого вопросов стало куда больше.

— Улица Уралсовета. Она параллельно главной, но короткая. Там общага, ни с чем не перепутаешь, — сказал вслед Васнецов. — Только вряд ли дома застанешь. Она или в храме, или кому помогает. У неё же послушание.

— Послушание, — повторил Платонов, словно пробовал слово на вкус.

Главред приехал только под вечер. С порога начал извиняться за задержку: одолели политики, грядёт предвыборная кампания, у журналистов будет уйма работы. Бабель пообещал “лежачую” поддержку редакции, а Платонов вдруг “обломал” всех:

— А к чему всё это?

— Что с тобой, Костя? — уловил его настроение Максим Леонидович.

— С нами со всеми что? — вопросом на вопрос ответил Платонов.

— Ладно, — не стал вдаваться в подробности главред, — собирайтесь. Там в “газели” Володя для Степаныча специальный лежак соорудил. Почти переоборудовал салон. Надо ещё наши издания выгрузить. Я для больницы привёз. В дар. Пусть врачи и больные читают.

— Во как! — обрадовался Иван Петрович. — Мне закиньте, а то жена постоянно газеты забывает. И это... Побольше.

— Закинем, — улыбнулся Платонов.

— Эх, — вздохнул Иван Петрович, — задом чувствую, скучать мне здесь одному.

Глаза его наполнились такой тоской, что Платонов подумал, не заболеть ли чем-нибудь ещё, чтобы составить компанию пенсионеру. А главное — быть ближе к Маше.

21

Вместе с водителем Володей Платонов перетащил в больницу газеты и журналы. Причём целую пачку занёс Ивану Петровичу, заслужив в качестве благодарности радостное “во как”. Потом уже взялись за немного волнующегося Бабеля.

Как только тронулись, Константин попросил Максима Леонидовича ехать по адресу, который ему сообщил Васнецов. Казалось бы, город небольшой и тянется несколькими улицами вдоль железной дороги, а поплутать, пока нашли улицу Уралсовета, всё же пришлось. Застывающая осенняя серость придавала районному центру состояние вечной заброшенности. Платонов вспомнил, что по ночам слышал вокзальную перекличку и перестук проходящих составов. Жизнь, казалось, идёт мимо этого города, как и поезда. Но, если перевернуть ситуацию, получалось — здесь почивала вечность,

которой были незнакомы бессмысленная суэта политиков, экономические кризисы, гламурная пустота и глобальное мышление. И в душе смешались два чувства: стремление уехать из этой тоскливой затхлости и желание остаться, чтобы неспешно плыть в замедленном времени.

Внешний вид и “внутреннее убранство” общаги железнодорожников только усугубили осознание провинциального гниения. Снаружи белокирпичные стены были сплошь расписаны иноязычными и непристойными граффити, внутри — тоже, но там штукатурка и краска были похожи на географическую карту — материки, острова — на тёмной, местами покрывшейся плесенью стене. Даже перила представляли собой сплошную берестяную грамоту, а жестяные банки на лестничных площадках, наполненные доверху окурками, взывали к проходящему чтить начала цивилизации и выносить мусор. И эти привычные чёрные патроны с лампочками на 60 ватт...

Платонов долго и безнадежно стучал в Машину дверь. Настолько долго, что соседка, жившая напротив, крикнула, не открывая дверь:

— Не долбись! Нету Магадалины, в церкви поди!

Выйдя на улицу, Константин облегченно вздохнул.

— Оставь надежду, всяк сюда входящий... — сказал он вслух, оглядываясь на размалёванный зев подъезда.

— Ну, попрощался? — Максиму Леонидовичу не терпелось вернуться в привычный мир.

— Нет. Если можно, давайте ещё в храм заедем...

— Это обязательно, Костя?

— Очень нужно. Я прошу.

— Хорошо. Володь, рули.

Пока ехали, Константин вдруг четко вспомнил, что в последний раз он был в церкви, когда отпевали отца. Друзья потом жаловались, что еле выдержали, что их распирало изнутри, что хотелось поскорее выйти наружу, а Костя во время службы думал о другом. Отец, который всю жизнь храмы обходил стороной, хотя и не смеялся над верующими и не позволял делать этого домашним, за месяц перед смертью вдруг пришёл во Всесвятскую церковь, и потом уже ходил туда каждый день. Узнав, что неизлечимо болен, он отказался от постоянно увеличивающейся дозы обезболивающего и упрямо каждый день шёл в храм. Потом отказался от телевизора, мяса и общения со многими из тех, кто тащил его к разным врачевателям. И так же упрямо во время служб стоял на ногах, хотя батюшка разрешил ему сидеть. Костя вынужден был сопровождать его, чтобы вконец обессилевшего провожать домой. Ему был непонятен странный отцовский задор и это граничащее с безумием упрямство. Сам он тогда верой не напитался, во время служб выходил на улицу “читать ворон” и даже покурить. Что-то “не пробило” тогда: или наступающая смерть отца мешала воспринимать всё остальное, даже то, что происходило с отцом, или нужна была Магдалина... В последний день отец радовался, как ребёнок, что причастился святых тайн. Радовался так искренне и наивно, будто ему подарили что-то самое важное, словно он совершил главный и самый благородный поступок в своей жизни... Потом лёг и тихо уснул навсегда. Был день Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа. И Косте было невдомёк, почему православные считают этот день праздником, да ещё и светлым. Лишь много позже он прочитал, как сам Христос в сонме ангелов спустился к Той, что выносила Его для этого мира, как апостолы несли одр с телом Богоматери, и какие в связи с этим происходили чудеса... Прочитал тогда, как сказку. И только сейчас с ужасом от удара сердечного знания, с воющим от надрыва, от неместимости величины и величия этого знания сердцем понял: всё это было, всё это есть, всё это рядом, всё это истина... Он отвернулся к окну, сдерживая слёзы, но воздуха не хватало, он закашлялся и вдруг громко и безудержно зарыдал.

Бабель приподнялся на своём импровизированном лежаке и недоуменно покачал головой: мол, совсем у парня нервы сдали. Но предпочёл промолчать. Оглянулся Володя, вздрогнул Максим Леонидович. Взял Платонова за руку.

— Ты чего, Костя? Сейчас-то чего плачешь? — озадачился Максим Леонидович, полагая, что Костя сейчас переживает всё, что с ними произошло.

— Сейчас оттого, что раньше надо было, — с трудом выдавил из себя Платонов. — Я понял, что Христос был, Он приходил, и Богородица, и апостолы, и — какой я...

— О, Господи! — изумился Максим Леонидович. — Час от часу... — но предпочёл не договаривать.

Бабель раздражённо отвернулся в другую сторону.

“Газель” остановилась у той церкви, что была недалеко от вокзала. Платонов вышел на улицу, уже успокоившись, но с влажными и необычайно просветлёнными глазами.

— Я недолго, — сказал он встревоженным спутникам.

Бабель всё же не выдержал, поднялся на локтях и крикнул вслед:

— Костя, по твоим новым понятиям, Фейербах сейчас в аду?

— Кто? Где? — не понял Платонов, затем собрался и язвительно ответил: — Они с Гегелем в одном котле сидят, а топят им Шпейермахером и Марксом.

— Ну всё, — рухнул обратно на подушки Виталий Степанович, — кого из нас сильнее по башке стукнули? — И для вящей убедительности потянул бинты со лба на глаза.

— Что ты к нему привязался? — спросил у Бабеля Максим Леонидович.

— Уже ничего, уже совсем ничего, — обиженно ответил Бабель, собрался было молчать, но не выдержал и добавил: — Видишь же, Максим Леонидович, у человека религиозный экстаз. Спасать парня надо! Он же теперь такого понанишет!

— Ну и что? — равнодушно спросил ни у кого главред.

— Вот с этого всё и начинается! — теперь Виталий Степанович окончательно обиделся. — Мракобесие церковное...

— Бесы, мрак и церковь — не сильно вяжутся, — задумчиво прокомментировал главред.

Платонов между тем вошёл в храм, где читали часы. Дюжина верующих и, судя по всему, несколько зевак хаотично стояли и, соответственно, бродили. Машу Платонов увидел перед образом Спасителя в левом приделе и сразу направился к ней. Молча встал рядом, потом нерешительно взял за руку, собираясь с мыслями для вопроса. Даже для череды вопросов. Но Маша вдруг опередила его шёпотом-скороговоркой:

— Костя, я ничего не знала про этого Фёдора, беду вижу, лица не всегда, я не экстрасенс, Костя, мне больно, когда я всё это чувствую, мне больно, когда я о страждущих молось, больно, понимаешь? Другого пути здесь нет, только через принятие боли ближнего. Нет тут никакого чуда, никакой мистики, ничего такого нет. Благодарю тебя, что ты, несмотря на мои изъясны, увидел во мне женщину, что потянулся ко мне, даже разбудил то, что, мне казалось, уже убито, раздавлено, выжжено... — Маша сделала акцент на последнем слове. — А ты заставил это проснуться. Но... получилось так — сделал ещё раз больно. Тебе надо ехать, тебя ждут.

— Но мы должны что-то решить! Я уже другой человек, Маша! — неожиданно громко и с вызовом сказал Константин, так что все оглянулись, даже дьякон, читавший у амвона.

На нервный голос Константина из правого придела подались два поджарых паренька в одинаковых костюмах, которые до этого стояли за плечами весьма скромного на вид мужчины. Единственное, что выдавало его положение и самооценку — властный взгляд.

“Кутеев”, — догадался Константин. Маша же одним движением век установила телохранителей.

— Ты не сказал Никитину про Фёдора, почему?

— Не знаю, я и Бабелю не сказал, — Платонов невольно перешёл на шёпот. — Я ему руки и ноги сломал. Теперь и меня можно паковать.

— Ты же защищался.

— Ты и это знаешь?

— Догадываюсь...

Какое-то время они молчали, и Константин вдруг почувствовал на себе внимательный взгляд Спасителя. Он повернулся к образу лицом, но долго

смотреть в глаза Христа не смог, потому что они смотрели прямо в душу. А там... Там надо было сначала прибраться, прежде чем приглашать туда Бога. Хотя, Он, пожалуй, и так знает о состоянии души каждого. Почему-то вспомнились кадры из фильма Мэла Гибсона "Страсти Христовы". Иисус, несущий непомерно тяжёлый крест, избитый римскими солдатами, падающий и поднимающийся, и Симон Кириинеянин, которого завоеватели бесцеремонно заставили нести крест Сына Божия...

В душе опять защемило. Откуда-то захлестнуло в душу чувство вечного долга. Ко всем ли приходит это ноющее чувство вины? Вспомнился почему-то давнишний спор с Бабелем, который разъяснял Платонову разницу между почитанием Девы Марии в исламе и христианстве. Костя тогда отмахнулся: мусульмане просто не могут позволить земной женщине, какой бы чистоты она ни была, быть Матерью Бога. На мать пророка они ещё согласны. Именно приближение Бога к человеку, его вочеловечение они не могут принять. Бог у них больше карающий, нежели Бог-любовь. И в этом они очень близки с иудеями, с которыми воюют на протяжении веков. Вавель, в котором течёт сколько-то еврейской крови, очень обиделся. Обиделся именно на примирительное, казалось бы, сравнение с мусульманами. Но ведь ни те, ни другие не могли себе представить страдающего Бога! Да ещё, чтоб простой смертный нёс его крест...

Что испытывал Симон Кириинеянин, когда нёс крест Христа? Ведь он, как и Спаситель, видел вокруг алчущую зрелищ и медленной смерти толпу, кричащую издевательства и проклятья. Или наоборот, он заметил идущих чуть поодаль Матерь Божию, Иоанна Богослова, Марию Магдалину...

Внутри Константина Игоревича Платонова стало тесно. И в уме и в сердце. Он перестал вмещать знание о Христе, которое по ещё непонятным ему основаниям отражалось невыносимой душевной болью, от которой по-детски хотелось плакать и плакать.

Снова поднял глаза на Машу. Она смотрела на него уже не как женщина, не как сестра даже, а — как мать! Такой взгляд ввёл Константина в окончательное замешательство. Нужно было уходить...

— Маша. Я вернусь за тобой. Слышишь?

— Тебе надо ехать... — совсем без эмоций сказала Маша.

— Знаешь, я понял, что внешне в тебе самое удивительное... Глаза. В них светится какое-то особенное знание и доброта... Милосердие... Как у неё... — Он едва заметно кивнул на образ Богородицы.

— Не смей... так говорить. Не смей сравнивать! Не смей! — громкий шёпот перебил его, но он решил выговорить всё до конца.

— И прости: я всё равно буду видеть в тебе земную женщину. Может, я до чего-то не дорос духовно, но любить тебя мне не запретит никто. И шрамы твои меня не пугают. Я готов каждый из них покрывать поцелуями. Я это перед Ним говорю, — Константин опустил голову перед лицом Спасителя, — я не думаю, не верю, что Он назвал бы это грехом. Это не страсть безумная, это что-то другое. Не знаю... Не понял ещё... Но если надо остаток жизни провести рядом с женщиной — то это должна быть ты. И за это можно меня презирать? Относиться как несмышлёнышу? Или ты думаешь, я тянусь к тебе из-за твоих... способностей, — неуместно как-то прозвучало, Платонов понял, что аргументы кончились. — Всё равно, как бы ни повернулось, мне остаётся благодарить Бога за то, что я вдруг с такой болью понял что-то главное. За то, что ты просто есть... Как же нелепо я жил до сих пор! — Платонов понял, что обращается к самому себе и затих.

Маша уже ничего не говорила, на глаза у неё выступили слёзы. Охранники Кутеева и сам он напряглись уже в который раз на протяжении этой недолгой беседы.

— Я вернусь, — твёрдо сказал Константин и ринулся из храма.

Уже на выходе замер, остановился, повернулся к царским вратам и троекратно перекрестился. Так, будто делал это всю жизнь. Хотел было выйти на улицу, но почувствовал на себе долгий пронзительный взгляд Кутеева, полный подозрения и даже, показалось, зависти. Платонов, неожиданно для себя, кивнул ему: мол, всё нормально, мужик, береги нашу Машу. И Куте-

ев вдруг кивнул в ответ — подбородком в грудь. Так, как это делали, щелкнув каблуками, царские офицеры: честь имею.

Теперь можно и нужно было ехать. Вот только куда? Туда, где никто не ждал.

22

На обратном пути долго молчали. Только Максим Леонидович часто и глубоко вздыхал, как будто это он провёл долгое время в больнице, и теперь ему предстояло что-то изменить в своей жизни. Бабель лежал с закрытыми глазами, размышляя о чём-то своём. Водитель Володя включил музыку, но, пару раз оглянувшись, сообразил, что он не уместна.

Уже когда подъезжали к городу, Бабель не выдержал:

— Костя, ты на меня зла не держи. Ты просто многого ещё не понимаешь.

Платонов сначала, казалось, не услышал Виталия Степановича, он словно вернулся из совсем другого мира, но нашёлся быстро.

— Во-первых, ни на кого зла я не держу, во-вторых, Степаныч, тебе должно быть грустно оттого, что ты знаешь всё.

— Да нет! — загорелся причиной нового спора Бабель. — Я вовсе не считаю, что знаю всё, но пожил-то куда больше. Вот ведь, съездили в райцентр. Надо же.

— В этом мире нет ничего случайного, — без интереса к разговору сказал Платонов.

— О! Осознал! С той лишь разницей, что случайности устраивают себе люди.

— Не имею возражений.

— Ты теперь, наверное, в церковь бегать будешь?

— Не бегать, а ходить. Бегают в туалет, когда припрёт.

— А говоришь — зла не держишь, — обиделся Виталий Степанович.

— Да не держу! Степаныч, ну можешь ты понять, что у меня кошки на душе скребут. Не кошки даже, пантеры, тигры, львы! Понимаешь?

— Да я тебя в жизнь пытаюсь вернуть!

— В какую?

— В нормальную. Чувствую же — эта... Магдалина... она не то что любовью мозги окрутила... ты же сейчас начнёшь поклоны класть перед иконами...

— Степаныч, — Платонов почему-то не испытывал раздражения, — мои предки в течение тысячи лет стояли перед иконами. И знаешь, что логически, чисто прагматически, как именно ты понимаешь, высвечивается — что и Россия всё это время стояла. Перестала Россия перед образами стоять — и чуть было вообще не перестала на ногах стоять. Колосс на глиняных ногах, так, кажется любили называть её все, кто её ненавидел.

— А щас, значит, — Бабель почти взвизгнул, — если лбы не расшибают, то и России нет?!

— А что? — Константин посмотрел на плывущие чередой за окнами рекламные щиты: “купите”, “ипотека”, “льготный процент”, “лучшие товары оптом и в розницу”: — Это Россия? Это морок какой-то...

— Ну всё, ясно, — неимоверным усилием Виталий Степанович сдерживал себя, — не стоял ты в очереди за колбасой...

— Да стоял я, Степаныч, стоял. Но мне в ум не придёт Россию колбасой мерить. Докторской или копчёной. Сервелатом. Салами.

— Братцы, вы сейчас что пытаетесь друг другу доказать? — не выдержал Максим Леонидович. — Одно другому не мешает. А мне, Виталий Степанович, эта девушка тоже удивительной... и прекрасной показалась. Светится в ней что-то. Может, Костя, материал о ней сделаешь?

— Нет, Максим Леонидович, — твёрдо ответил Платонов, — не могу. В одном городе нашей необъятной страны меня точно не поймут. Вот о больничке районной — пожалуйста.

— Ну, как знаешь, — снова вздохнул главред, которого, похоже, мучили совсем другие проблемы.

— Костя, — примирительно позвал Бабель, — надо в жизнь возвращаться. Ты талантливый. Посмотри вокруг...

Константин послушно посмотрел. За окнами плыл серый суетливый город. Муравейник. Теснились, почти толкались, вырываясь из пробок, автомобили, хаотично мигали огни реклам и системно — светофоры, и люди в этом бетонно-кирпично-стеклянно-стальном пространстве, пусть порой и беспорядочным своим движением, казались частью огромной бессмысленной системы. Главное, что каждый из них нёс на лице какую-то собственную сверхзадачу, свою правду, свою цель. Кто — с улыбкой, кто — с суровой решительностью, кто — со знаком вопроса, кто — с бесшабашной доверчивостью, кто — с обидой, а некие — с пренебрежением ко всем остальным. И Константин Платонов, выйдя из машины, вольётся в этот поток и станет одним из них. “Имитация жизни”, — вдруг осенило Константина.

— Жизнь? — вслух спросил он. — Что под этим понимать? Жизнь по придуманным гордецами правилам?

— И что тебе не нравится? — не дал развить мысль Бабель.

— Скучно... — отрезал Платонов и, немного подумав, добавил: — А иногда подло.

— О-о-о... — завёлся было Виталий Степанович, но его взлёт на новый виток дискуссии оборвал Володя.

— Сначала в больницу? — спросил он.

— Да-да, Виталия Степановича сначала с рук на руки передадим, — обрадовался возможности прервать спор коллег Максим Леонидович.

Уже при въезде в больничный двор главред вдруг наклонился к забинтованному уху Бабеля и прошептал:

— Степаныч, я знаю, что не даёт тебе покоя. Ты вдруг понял, что твой молодой друг стал смыслить в этом мире что-то иначе, а в чём-то даже больше тебя. Назидательный тон более не пройдёт. Не стоит из-за этого кипятиться.

— Да я... Да вовсе нет... Да... — Бабель невольно растерялся, не успевая понять, прав или нет Максим Леонидович, но пора уже было выгружаться.

— Костя, — позвал он, когда его уже переложили на больничную каталку. — Костя...

Платонов в это время поправлял ему одеяло. Он посмотрел на старого журналиста с искренней улыбкой:

— Да ладно, Степаныч, не заморачивайся ты. Выздоровливай. Я тебе книг привезу. Маленький ди-ви-ди хочешь?

— Хочу, — облегчённо вздохнул Бабель, ощутив искренность и неподдельную заботу Константина. — Привези, пожалуйста, фильмы с Луи де Фюнесом. Давно хотел пересмотреть. В молодости — не давали, а потом всё времени не было. А тут...

— Привезу.

ЭПИЛОГ

Через две недели Платонов уже стоял под вывеской магазина “У Кузьмича” и снова испытывал то же самое чувство: он соскочил с подножки скорого поезда и с лёту влип в заторможенное время. Как муха в сироп. Но теперь к первоначальным ощущениям добавилась совершенно странная ностальгия. Точно он вернулся в город своего детства. А может, в таких городах дремлет детство всей страны? Юность империи? Во всяком случае, здесь есть что-то константно важное, без чего ни большая, ни маленькая страна устоять не может.

В больнице его встретили, как старого друга. Лера и доктор Васнецов пригласили его в ординаторскую, угостили чаем с пирожками.

— Всё-таки решили статью о нашей больнице писать?

— Да, но ещё мне очень нужно повидать Машу. Думал, она на работе.

Васнецов и Лера многозначительно переглянулись. Первой не выдержала Лера:

— Да уехала она, Константин Игоревич. Совсем уехала.

У Платонова в груди ухнуло и оборвалось, горячим приливом ударило в голову.

— Как уехала? Куда?

— Взяла расчёт. В её комнате в общежитии уже другая медсестра живёт, — пояснил Андрей Викторович. — Нам теперь... — Васнецов поискал слова, но подходящих не нашлось, — как без рентгена. Диагностика, знаете ли... — и смутился, потому что понимал — Платонову важно было совсем другое.

— Куда уехала? — повторил вопрос Константин.

— Они ничего никому не сказала, даже подругам, — обиженно сообщила Лера.

Платонов на какое-то время ушёл в себя. У него было чувство, что он опоздал на целую жизнь. Для того чтобы нагнать, надо было родиться заново да ещё не совершить ни одной ошибки.

— Пойду я... Спасибо...

Во дворе он машинально “стрельнул” сигарету у реаниматолога. Несколько раз затынулся, закашлялся, пожал плечами на немой вопрос доктора, и двинулся по аллее. В последний момент заметил приоткрытую дверь избушки-морга. Не задумываясь, направился туда.

В знакомом ему кафельном обиталище смерти за столом сидели двое. Фёдор с костылем и загипсованной рукой и, вероятно, его шеф — патологоанатом. На письменном столе стояла початая бутылка водки, гранёные стаканы, на полиэтиленовом пакете была разложена нехитрая закуска.

— О, всё-таки решил меня сдать, — заявил навстречу Фёдор, — а я как раз Валентину Иванычу исповедуюсь. Ментов уже привёл?

— Да нужен ты кому, — с лёгким раздражением ответил Константин. — Я Машу ищу.

— Магдалину? — Фёдор криво ухмыльнулся. — Ромео, блин. Вот за что я вас, интеллигентов, не люблю, носитесь со своими нюнями.

— Тебе вторую руку сломать, чтоб нюней не выглядеть? — серьёзно спросил Платонов.

— Ты чё вообще навязался на мою голову! — возмутился Фёдор. — Я чё — в жизнь твою лезу? Спать мешаю? Магдалину ему подавай! Да если б, выходит, не я, ты бы её и не увидел никогда! Не так что ли?

— Слушай, вершитель судеб, я задал простой вопрос: где Маша?

— Так она из-за тебя уехала, об этом весь город говорит. Запудрил девочке мозги и умчался в столицу...

Платонов угрожающе шагнул вперёд, и Фёдор опасливо потянулся к костылю, планируя защищаться им по науке Платонова.

— Очень... очень хочется сломать тебе вторую руку, — сказал Платонов.

— Может, выпьете с нами? — примирительно предложил Валентин Иванович.

Платонов вдруг поймал себя на мысли, что ему жаль этого человека. Испитое, покрытое сеткой лопнувших капилляров лицо, затуманенные, изначально печальные, усталые глаза и чуть дрожащие руки. Заметив, что взгляд Константина замер на его подрагивающих кистях, доктор сообщил то, что, вероятнее всего, рассказывал всем новым знакомым, как оправдание:

— Да, не те уже руки. Я был хорошим хирургом. Не верите? Ко мне с области на операции приезжали. А потом... Потом ошибся. У нас ошибка, как у лётчика, жизни стоит. Или как у сапёра. Выпьете с нами? — снова предложил он.

— Да он брезгует! — вставил Фёдор.

— Не брезгую, пил уже с тобой. Просто — не хочется. Вы осторожнее с ним, Валентин Иванович, он сначала исповедует, а потом ломом по башке стукнет. И тело далеко тащить не надо...

— Ты чё из меня тварь какую-то делаешь?! — бесстрашно и честно оби-

делся Фёдор. — Ты чё, жизнь мою знаешь? Ты кто, чтоб судить, писака малохолыйный?!

— Да кто тебя судит? Кто тебе сказал, что ты вообще можешь быть кому-то интересен? — спокойно перебил его гнев Платонов. — Я Машу ищу.

— Полагаю, — задумчиво сказал Валентин Иванович, — об этом в нашем городе может знать только один человек.

— Кутеев? — догадался Константин.

Патологоанатом, поджав губы, кивнул: мол, ты и сам всё знаешь, браток.

— А где его найти?

— Смотри, как бы он сам тебя не нашёл, — ехидно предупредил Фёдор.

— Не твоя забота.

— Езжайте на восток из города. Там стоит особнячок такой примечательный. “Песчаный замок”. Ни с чем не перепутаете. Да, в конце концов, любой таксист знает, куда везти. Не Москва, знаете ли, — дал исчерпывающую информацию Валентин Иванович.

— Спасибо.

— Не во что, — повторил какую-то прижившуюся больничную поговорку Валентин Иванович, многозначительно заглядывая в пустой стакан.

— Спасибо, — ещё раз повторил Платонов, — с меня причитается.

— Заходите, всегда рады.

— Уж лучше вы к нам.

Почти сразу удалось с руки поймать частника у больничной ограды. “Больная на весь мотор” “шестёрка” и тихий очкарик, огромными глазами похожий на Бабеля, доставили его к нужным воротам за четверть часа.

Чугунное литё впивалось в красные глухие кирпичные стены. Безразличные глаза камер смотрели из специально задуманных для них бойниц-глазниц. Примечательно, что за воротами были вторые ворота — раздвижные металлические, которые, судя по всему, закрывали от посторонних глаз панораму двора. На воротных столбах пугали прохожих таблички с различными предупреждениями о возможных карах в случае незаконного проникновения на территорию “песчаного замка”, а на правом располагался звонок домофона. Константин, нисколько не сомневаясь, нажал на кнопку.

— Слушаю, — прозвучал из динамика изначально недовольный голос.

— Мне нужно увидеть господина Кутеева.

Ясно было, что отвечает не сам муниципальный олигарх, а кто-то из его охраны, возможно один из тех, кто был с ним в церкви.

— Кто, по какому поводу?

— Доложите, журналист Платонов, он видел меня в храме с Марией.

— Ждите.

Ждать пришлось несколько минут. Причём и без того заторможенное в этой округе время окончательно остановилось.

Наконец послышались шаги. Затем разошлись в стороны внутренние железные ворота. Литые чугунные неприступно остались на месте. За их вязью Константин и увидел Кутеева. При ближайшем рассмотрении он оказался невзрачным человеком весьма усталого вида. Ничего — от супермена, ничего — от бандита. Смешная залысина на лбу, чуть приплюснутый боксёрский нос, почти лишённые волосяного покрова брови, немного выступающие на покато лбу, и, видимо, всегда настороженные серые глаза. Единственное, что снова напомнило о положении Кутеева в современном обществе — видимая готовность умереть за это положение, вступить в бой за малейшее посягательство на него, и то, что таких смертей и боёв за плечами у него было не одна и не две... Но просматривалось в его облике что-то ещё... Для себя Платонов прочитал это как неуверенность Кутеева в том, что он правильно всё делал, даже разочарование какое-то. Такое — что нужно скрывать его за этими толстыми стенами.

В руке у него была весьма увесистая книга. Да и голос у него оказался не как у Джеймса Бонда.

— Вот, — протянул он сквозь чугунные ветви книгу, — она знала, что ты придёшь сюда.

— Что это?

— Библия.

— Куда она уехала?

— В монастырь.

— В монастырь?

— В монастырь.

— В какой?

— Она просила никому не говорить. И тебе тоже. — Он упредил вопрос Платонова. — И ты прекрасно понимаешь, что если она просила, я никому не скажу.

— Но... я люблю её.

— Ну и что, я тоже, — безразлично ответил Кутеев. — Она не от мира сего.

— Я так мало о ней знаю.

— Достаточно, чтобы поверить в то, что я сейчас сказал.

— Этот мир отторг её. Растоптал.

Кутеев теперь посмотрел на Платонова с явным раздражением.

— Ты так ничего и не понял о ней. Она вообще не была в этом мире. Никогда.

— Что мне теперь делать? — этот вопрос Константин задал куда-то в небо.

— Не знаю, может — ответ там? — Кутеев указал на Библию.

Платонов заметил две закладки в кирпиче тонких страниц. Он поспешно открыл книгу и увидел место, обведённое карандашом: “Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю...”. Это было Первое послание к Тимофею Святого Апостола Павла. И хотя Константин понимал, почему Маша обвела именно эти слова, но он хотел найти ответы для себя, а не объяснение от неё. Пусть и сказанное самим Апостолом. Он открыл книгу там, где была вложена вторая закладка. Знакомый, индифферентный текст Апокалипсиса. И снова карандашом в десятой главе: “И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что времени уже не будет...” Именно “что времени уже не будет” зачем-то подчеркнула Маша.

Пока Константин листал Библию, железные ворота закрылись. Звонить второй раз было бессмысленно.

Платонов повернулся к воротам спиной и внимательно посмотрел в тяжёлое осеннее небо.

— Вот, Андрей Викторович, был я дважды, а теперь кто? Трижды? — спросил он то ли к небу, то ли к доктору в недалёкое прошлое. — Помогите обо мне, раба Божия Мария... — попросил у серых туч Константин, и они вдруг прямо на глазах просветлели. Просветлели и посыпали крупными красивыми снежинками, и застывшая рёбрами и ухабами на земле грязь удивительно быстро сменилась белоснежным пушистым покрывалом. Уже через несколько минут под ним не видно было дороги, жухлой листвы и травы, был только чистый лист, на котором можно было оставить первые следы.

Настоящая русская зима всё же настала.

* * *

Человек с Библией в руке брёл по этой бесконечной белизне. Время ещё было...